



Ю_ШУТОВА



РЕКИ ТЕКУТ К МОРЮ

книга II



КАЖДОЙ - СВОЕ



18+

Ю_ШУТОВА

**Реки текут к морю.
Книга II. Каждой – свое**

«Автор»

2021

Ю_ШУТОВА

Реки текут к морю. Книга II. Каждой – свое / Ю_ШУТОВА —
«Автор», 2021

ISBN 978-5-532-92302-7

Продолжение семейной саги, написанной «назад во времени». Судьбы женщин одной семьи связаны расколотой надвое иконой. Мы погружаемся в жизнь девочек-близнецов, чья юность пришлась на 90-е годы, а затем в жизнь их матери.

ISBN 978-5-532-92302-7

© Ю_ШУТОВА, 2021

© Автор, 2021

Содержание

Эля и Ленуся	6
Детские влюбленности	6
Эля и Музыка	10
Каждой – свое	15
Письма	31
Элькина свадьба	37
Игра в семью	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ю_ШУТОВА

Реки текут к морю. Книга II. Каждой – свое

Две маленькие девочки копошатся в песке у реки. Они копают ямки одинаковыми лопатками, льют туда воду из одинаковых ведерок. Они и сами кажутся одинаковыми, две темно-лосые головки, четыре косички, два чумазных личика, четыре ладошки, измазанные песком и илом. Но это нам только кажется. Они очень разные. А еще нам кажется, что они бессвязно лепечут. Это не правда. Они разговаривают. И прекрасно понимают друг друга. Разговоры их полны смысла. В их головах еще хранится память о мире, его происхождении и устройстве. Потом, когда они подрастут, они забудут и этот язык, и эти разговоры, и их смысл. Они станут обычными детьми, которым придется открывать окружающую реальность заново.

Но сейчас этот мир абсолютно ясен для них. И смысл его прозрачен как вода, что течет мимо. Течет, медленно, но неумолимо унося их изначальную память.

Эля и Ленуся

Детские влюбленности

– Девки, играть давайте!

Бабушка пошла по магазинам, оставила их со старшей сестрой. Люське в школу еще рано, и они будут играть. Она открывает мамин шкаф и забирается внутрь:

– Давайте сюда лезьте. Сказку расскажу.

В шкафу темно, пахнет нафталином и мамиными духами. Люська сдергивает с вешалок какие-то платья, они падают на головы. Свито уютное гнездо, и они сидят в нем, как птенцы, тесно прижавшись к сестре. А она обнимает их двумя руками. Начинает рассказывать: «Давным-давно в одной деревне жил-был плут по имени Хикоити. И был у него зонт...» Люська начиталась японских сказок, это у нее сейчас любимая книжка, вот и рассказывает им про хитреца Хикоити, водяного Каппу и лешего Тэнгу, скользящего на широких крыльях над скрюченными горными соснами. Сказки завораживали девочек, они зажмурились, и в платяном душном мраке вставали перед ними странные нездешние фигуры, совсем непохожие на бурагин и снегурочек, дюймовочек и лисичек со скалочками.

– Я буду принцесса Кагуя Химе, а вы будете моими пажами.

Люська натягивает на себя мамино платье. Оно большое, длинное, волочится по полу, но это и хорошо. Так и надо. Ловко наматывает себе на голову пестрый шарф и втыкает в него павлинье перо, что обычно стоит на трюмо в высокой узкой вазе из синего стекла. Да, она настоящая принцесса, красавица. Теперь их очередь наряжаться. Сестра засовывает обеих девочек в шелковую белую блузку, Ленусе достается левый рукав, Эле – правый. На головы им водружается лифчик от маминого купальника, подбитый поролоном, белый в черный горошек, это их шлемы. Так, в одной связке они ходят по комнатам за Люсей, тащат ее шлейф, а она томно обмахивается сложенным из бумаги веером. Вдруг Ленуся спотыкается обо что-то, скорее всего об Элькину ногу, и валится, таща за собой сестренку. Пажи рухнули на принцессин шлейф.

Ш-ш-ших, трещит ткань...

Бум-с, Люся падает на колени, хватаясь за угол скатерти на большом столе...

Ш-ш-шур, скатерть ползет по столешнице, тащит на своей гобеленовой спине фарфоровую супницу, полную малюсеньких красненьких яблочек.

Кряк, супница спрыгивает на пол, теряя при этом одну ручку, кругленькую, похожую на баранку.

Так-так-так, рассыпаются яблоки, скачут, норовят спрятаться под комод и бабушкину кровать.

– А-а-а, – хором завывают двойняшки.

– Да тихо вы, дурищи, – шипит Люся, выбираясь из кучи-малы и с ходу пытаясь оценить нанесенный урон.

«Ручку приклеить, клей взять у папы, я у него в шкафу видела... Прямо сейчас, пока бабушка не вернулась... Одежки в шкаф, может мама не заметит, что платье порвалось. Пока не заметит. Ой, перо перегнулось... Выпрямить... Ладно, в вазе не видно...»

Лихорадочно запихнув мамины шмотки в шкаф, вроде бы именно так и висели, Люся кидается в прихожую. Там у папы в стенном шкафу – огромное хозяйство. Охотничье. Пыжи, патроны, порох... Строго настрого девочкам запрещается сюда лазать. Но сейчас-то особый случай. Надо супницу спасать. Она старинная. Это бабушке с дедушкой на свадьбу подарено

тыщу лет назад. Да где же клей-то? Люся шарит по полкам. Ага, вот он, тюбик. Намажем и прижмем.

– Чего расселись?

Маленькие до сих пор сидят на полу и воют.

– Быстро яблоки собирайте!

Эля с Ленусей начинают ползать, собирать яблочки.

– Давайте, давайте, сыпьте в супницу. Я ручку держу, чтоб прилипла.

Девки продолжают подвывать: «Мама заруга-а-ает...»

Заругает... Когда найдет порванное платье. Но может не сегодня...

Скандал был вечером. Сунувшись в шкаф, мама сразу нашла. И сразу оценила ущерб.

И понеслось...

– Люська, поганка, опять в шкаф залазила? Сколько говорить...

Бабушка вьется сзади:

– Томочка, не кричи, ой, не кричи... Я зашью, зашью...

Люська прячется в прихожей на тахте за спиной отца:

– Мама, я нечаянно!

– Я тебе дам, нечаянно, – кричит мать, но к тахте не подходит.

– Тамарка, прекрати орать! На первом этаже слышно! Подумаешь платье разорвалось.

Новое купишь, – это папа, говорит громко, вот его точно за дверью на лестнице слышно.

Близняшки сидят на подоконнике. Элька плачет, размазывает кулачками слезы. Ленка вопит:

– Мамка – плохайка-а-а! Кармама-а-а!

Они всегда были старательными троечницами. Большого от них и не ждали, бабушка вообще говорила, что у них память одна на двоих, много ли туда влезет. У Эли влезала в память почему-то только история, все события и даты из учебника она запоминала сразу. А Ленуся ни одной цифры не могла запомнить, да и не пыталась, зато стихи любые наизусть учила очень легко. Однажды на спор в пятом классе выучила "У лукоморья дуб зеленый" задом наперед. Не весь, конечно, но здоровый кусок. Вышла к доске и жажнула: "...Хакжон хирук ан мат акшубзи..." ну и все в таком духе. Весь класс под партами валялся, клево получилось. Ну, правда, потом пришлось все заново правильно рассказывать, но это уж потом.

Девочки-двойняшки с самого своего раннего детства знали, что они есть друг у друга. Одинаковые косички, одинаковые платьица, они привыкли быть всегда вместе, даже спали в одной кровати, вернее на одной тахте. Им всегда покупали двух одинаковых кукол, пупсиков или зайчиков, бабушка вязала две одинаковые шапочки, два одинаковых шарфика. Никогда не приходилось что-то делить или отбирать. Так дружно, держась за руки, они пришли в школу в первый класс и тут обе сразу «влюбились» в одного мальчика.

Взрослым легко смеяться над детскими влюбленностями: «Ну, это не по-настоящему, что они могут чувствовать и понимать в семь-то лет, это все игра, ерунда». Может, конечно, и ерунда, а только Эля и Ленуся, как увидели этого мальчика на крыльце школы своего первого в жизни первого сентября, так и остолбенели. А он, высокий, белобрысая челка из-под синей кепочки с помпончиком, новая синяя школьная курточка расстегнута, в руках черный портфель, улыбнулся:

– А вы, куклы, в первый «Б»? Если да, то здесь вставайте со мной рядом, здесь первый «Б» собирается.

Можно подумать, он главный, а не учительница.

Мальчишку этого, как потом выяснилось, когда уже в класс пришли, и учительница с ними знакомиться стала, Юркой звали.

Юрка Вихров стал для двойняшек лучшим другом. Всю начальную школу, все три года проходили они втроем. Только что за партой в классе втроем не сидели. Даже, когда всем классом шли куда-нибудь, в кино или в музей, всех парами строили, а они втроем вставали, Юрка посередине, девчонки по сторонам. Учительница сначала пыталась перестраивать, а потом сдавалась, пусть втроем ходят.

Юрка у матери один, отца у него нет. Мать весь день на работе, только вечером придет, так мальчишка сам себе обед готовил, и суп разогреет и макароны поджарит. Подружек своих домой приведет и накормит. А они готовить ничего не умеют, у них бабушка есть, она все на кухне делает.

– Так, девчонки, не пойдет, бабушка – это хорошо, но и самим тоже нужно все уметь.

– А нас бабушка не учит. Она говорит: «Идите поиграйте, не мешайте мне», – мы и не мешаем.

– Ну тогда я вас учить буду. Урок первый – «Макароны».

Макароны были длинными и толстыми, через них можно было пить сок из стакана или чай, если холодный. Они так играли, наливали холодный чай в стаканы, и это был коктейль. Но сейчас – не игра, сейчас дело серьезное. Юрка командует:

– Ленка, наливай воду в кастрюлю.

– А сколько?

– Половину.

Ленуся открывает кран и ставит кастрюлю в раковину. Вода ударяет в борт кастрюли и прыскает во все стороны. Смешно!

– Элька, включай газ.

– А-а, сам включай, я боюсь.

– Ну ладно, сам, так сам.

Юрка ловко чиркает спичкой о коробок, зажигает газ на плите, ставит на синий огонек кастрюлю с водой, водружает на нее крышку. Крышку он ставит не ровно, а на один бок, это чтоб вода не убежала, когда закипит.

– Ну пока все. Давайте в фантики играть.

Они усаживаются у стола тут же на кухне, надо следить за кастрюлей, вытаскивают из карманов фантики. В фантики тогда играли все, и во дворе, и в школе. Собирали, выискивали самые красивые, например, от «Мишки косялапого», «Красной Шапочки» или «Белочки», складывали квадратиками и треугольничками, обменивались. И играли на каждой перемене на подоконнике, в классе на парте, на улице на скамейках. Азарт!

– Все, вода закипела, пора макароны закидывать. Ну кто будет?

– Я! – хором кричат двойняшки. Юрка выдает им макароны, девочки ломают их на части и бросают в глубокую тарелку. Потом все это вываливается в кастрюлю, добавить соли и помешать, чтоб не слиплись.

– Я курю, – Ленуся сунула сухую макаронину в рот и манерно держит ее двумя пальцами, потом выдыхает «дым», вытянув губы трубочкой.

– И я, я тоже курю, – Эля копирует сестру.

Когда макароны сварились, Юрка вываливает их в дуршлаг, поставленный в раковину. Он ставит на огонь большую очень тяжелую сковородку, Эля с Ленусей вряд ли смогут такую поднять, но Юрка-то сильный. Сковородка нагрелась, на ней тает и шкворчит сливочное масло. Туда загружаются исходящие паром макароны. Теплый, тугой запах. Щекочет ноздри. Щекочет язык.

– Элька, как есть хочется! Тебе тоже хочется?

Эля кивает сестре. У нее у самой слюнки текут. Девчонки в четыре своих черных галчиных глаза жадно следят за Юркиной рукой, шурующей большой ложкой в ворохе макарон.

– Скоро там?

– Погодите... Счас...

И вот, все готово, сковородка водружается на стол, и все трое с вилками в руках устраиваются вокруг. Какая это вкуснятина! Желтые, горячие макароны извиваются на вилках, иногда падают на стол, и тогда их приходится ловить и руками запихивать в рот. Но так еще вкуснее.

Они любили смотреть диафильмы. Зима, темнеет рано, после продленки заходили к Юрке. Включали диапроектор в полной темноте. Сестренки жались друг к другу на диване, Юрка крутил фильм «Тайна ледяной планеты». Уже, наверное, раз в пятый или в шестой. Ну и что? Это был их любимый фильм. Страшный. Темно в комнате, темно на ледяной планете. Из пещеры появляются огромные монстры с горящими, как огни паровоза, глазами. Что-то пролетает в темноте, врежется Ленусе в грудь. Она визжит. А за ней визжит и Эля. Юрка хохочет. Он швырнул в них плюшевую обезьянку, подобие монстра из фильма.

Двойняшки пытались все повторять за своим другом. В начале второго класса Юрка записался в бассейн. Девчонки канючили дома: «Мама, хотим на плавание». Мать подумала: «Дело неплохое, Люська таскает их летом на пляж, а они плавать не умеют, а в реке – течение, еще потонут. Пусть ходят в бассейн», – купила два абонементов. Бабушка сшила пару купальничков. Из простых хлопчатобумажных маек. Зашила снизу, отрезала лишнее, вот вам и купальники. Аппликация на груди, у Лены – мишка, у Эли – зайка, чтоб не путали. Неудобные вышли купальнички. В душе заставляли раздеваться, мыться как следует перед плаванием, а попробуй натяни мокрый купальник на мокрое тело. Не скользит. Растягивается чуть не до колена. Тянешь его вверх, он складками весь. Смеются над ними. Надо синтетический, как у остальных девочек. В Юркину группу они не попали, ходили в другое время. Так что скоро им стало неинтересно. Да и проходили девочки на свое плавание лишь пару месяцев, сентябрь-октябрь. Потом холодно стало: «Шапка на мокрую голову – до менингита недалеко». Мать посмотрела на открытом уроке как ее дочери шевелят плавниками, плывут – не тонут: «Ну и хватит. Нечего зря головы студить». И плавание закончилось.

А в четвертом классе Юрка решил лыжами заняться, в спортивную школу, в ДЮСШ записался. И эти туда же, опять мать за подол дергают: «Мама, купи нам лыжи, мы хотим кататься!» Но тут уж мать не поддавалась на уговоры: «Еще чего! Ноги переломать! Зимой с открытым ртом бегать – горло простужать, воспаление легких зарабатывать». И бабушка вслед за ней: «Что вы, девоньки! Разве ж это занятие для девочек? Это пусть мальчишки на лыжах гоняют. Вот Люся в театральный кружок ходит. И вы бы записались. Куда как интереснее. Стихи бы учили, память развивали». Потом была попытка пойти вслед за приятелем в радиокружок в Доме пионеров, и еще самолетики с резинкой, закручивающей пропеллер, настоящие, летучие – авиамоделирование. Но так и не получалось у них вместе с Юркой куда-нибудь ходить.

Эля и Музыка

Чуть-чуть назад отматываем, в первый школьный год вернемся. Было там знаковое событие.

Эля с мамой едут в Ленинград. Едут к маминой подруге, когда-то они учились вместе, а потом мама уехала домой, а тетя Вера осталась в Ленинграде. Мама и раньше ездила к ней в гости, но тогда она не брала близняшек, потому что Эля и Ленуся были маленькими. А теперь они выросли, им уже по семь лет, и мама решила взять сестер с собой. "Пусть девочки Город посмотрят, в музей сходим, погуляем, им понравится", – вот так мама решила. Но Ленусю пришлось оставить дома, она не кстати простудилась, и ее не взяли. Мама взяла с собой только Элю.

Весь день они втроем с тетей Верой гуляли по городу. Погода была здоровская. Светило солнышко, было так тепло, что мама даже купила Эле эскимо прямо на улице. Сама бы мама ни за что не позволила есть мороженое на улице, ведь не лето уже, осень, но тетя Вера сказала ей:

– Что ты в самом деле, себя вспомни. Это же Ленинград, мы всегда здесь мороженое ели с тобой, даже зимой. Купи уж ей, пусть попробует Город на вкус.

И мама купила. Это было самое-присамое вкусное мороженое на свете.

Они ходили в музей, Эрмитаж, огромный домина, там было много чего, и картины и статуи, и всякие вещи, очень красивые. Но лучше всего был, конечно, заводной павлин. Это такие часы, большие и старинные. Когда наступил полдень, а тетя Вера специально привела их в этот зал к этому времени, часы прозвонили двенадцать раз, и павлин стал поворачивать голову и шевелить крыльями, как живой. Волшебство!

А после обеда гуляли в каком-то парке, и Эля набрала огромный прекрасный букет кленовых листьев, золотых и красных. Но самыми лучшими в букете были те листья, на которых еще оставался зеленый цвет, пусть где-нибудь с краешку, совсем немного, но это было как воспоминание о лете. Будто листья тоже помнят. А когда они пошли домой, к тете Вере домой, конечно, мама сказала:

– Выброси этот мусор.

Но это было никак невозможно, Эля сжала свой букет в кулачке:

– Это не мусор, это красота.

– Ну не повезем же мы его домой отсюда.

Тетя Вера вступилась за букет:

– Не надо выбрасывать. Принесем домой и прогладим листья утюгом. Тогда букет будет жить всю зиму. Можете оставить его у меня, я буду смотреть на него и вспоминать этот день и нашу прогулку.

Они так и сделали. Эля с тетей Верой аккуратно гладили листья утюгом через газету, и те становились твердыми и гладкими. Потом они связали черенки листьев веревочкой от торта, и поставили в широкую вазу на окне. Вышло очень красиво.

– Ну, вот видишь, как хорошо у нас получилось. Потом за окном пойдет снег, метель будет кружить по улице, а у меня будет теплый сентябрь. И так будет всегда, всю зиму.

Вечером тетя Вера повела их на концерт. Эля никуда уже идти не хотела, но нельзя же было оставить ее одну дома, мало ли что может случиться. Это мама так сказала. Поэтому пришлось снова одеваться, ехать сначала на автобусе, а потом на метро. И приехали они туда, где уже ходили днем, к памятнику Пушкину. Пушкин по-прежнему стоял, вытянув одну руку вперед, на голове у него по-прежнему сидел голубь. *«Интересно, это все тот же или уже другой?»* Но сейчас было темно, и вокруг памятника горели фонари, а деревья в сквере, казалось подошли к ним поближе, сгрудились тесной толпой, протягивая озябшие черные руки к этим желтым огням, согревая.

Театр, в который они пришли, назывался очень красиво и звучно – «филармония». Тетя Вера объяснила Эле, что это такой специальный театр, куда приходят слушать музыку.

– И что, даже танцевать не будут?

– Нет.

– А петь?

– Нет, Эля, петь сегодня тоже не будут. Будет играть оркестр.

Места у них были на балконе над самой сценой, это называлось «хоры». *«Почему хоры, если петь не будут?»* И сидели они в первом ряду, поэтому с высоты Эле было очень хорошо все видно: на сцене, в самой ее середине стоял громадный черный рояль, на нем будет играть «солист». Все остальное пространство было заставлено стульями, перед каждым стояла специальная подставка, почти такая же как у них в школе для книг, только побольше и на длинной ноге, «пюпитр для нот». Оказывается, музыку записывают нотами, как слова буквами, и музыканты умеют эти ноты читать, и по ним играют музыку. Вот сколько всего нового узнала Эля за один вечер. Но это было еще не все. В самом последнем ряду у стульев стояли громадные скрипки – «контрабасы», а ближе всего к тому краю сцены, на который с высоты смотрела Эля, стояли барабаны. А перед роялем на самом краю была приподнятая площадочка, такая маленькая сцена на сцене, огороженная со стороны зала перильцами из тоненькой золотой трубочки в виде буквы "П". Это было место дирижера.

– Он держит в руке специальную дирижерскую палочку, и этой палочкой показывает музыкантам, что и когда надо играть. Дирижер руководит всем оркестром, он здесь самый главный, – тетя Вера старалась все объяснить девочке.

Эля представила себе дирижера, с длинной как школьная указка, палочкой в руке, он строго смотрел на музыкантов, требуя от них внимания, а если они отвлекались или начинали разговаривать, он легонько постукивал палочкой по перильцам.

И вот на сцену стал выходить оркестр, это были мужчины в черных костюмах, пиджаки у них были смешные, спереди совсем короткие, а сзади с двумя длинными хвостами, были и женщины, но меньше, в черных длиннющих платьях. В руках музыканты несли скрипки или разные трубы, они рассаживались по местам и совсем не путались, наверное, каждый знал, куда ему надо садиться. Пока они выходили, люди в зале начали хлопать в ладоши. Вот музыканты расселись, и тогда на сцену вышел солист.

Это был здоровенный дядька, с отвисшим пузом, большим красным лицом, лохматыми, наполовину седыми волосами. Некрасивый, Эле он не понравился. *«Вон у него какие ручки здоровые, как он может такими руками делать музыку? У нашего дворника дяди Гриши такие руки, он зараз большую лопату снега загребает. И этот мог бы».* Пока солист усаживался за роялем, все в зале стали хлопать еще громче, видимо им он нравился.

Самым последним вышел на сцену дирижер, совсем-совсем маленький человечек. *«Да он не выше Люси!»* У него была круглая лысая голова, узкие глазки, их вовсе не видно, когда он улыбался. А он все время улыбался, устраиваясь на своем крохотном помосте. Повернулся к залу, кланялся, смешно сложив ладошки перед грудью. Он не был толстым, но из-за своей круглой головы и какой-то округлой улыбки, сам казался Эле круглым и масляно-блестящим, как колобок, нарисованный в ее книжке. *«Как он сможет командовать всем оркестром? Их вон как много, а он маленький совсем, и никакой палочки у него вовсе нет. Они его и не увидят, особенно те, сзади там, с контрабасами».*

Потом дирижер, вдоволь накланявшись и наулыбавшись, развернулся лицом к оркестру. Зал прокашлялся последний раз и затих. Маленький человечек поднял над головой руки, слегка крутнул левой ладошкой, и на Элю обрушилась музыка.

Она валилась сверху плотными мощными аккордами. Девочка вытянула голову над барьером балкона, посмотрела вниз и поняла, что дирижеру приходилось совсем не сладко. Музыка падала и на него, и, подняв руки над головой, он старался разогнать ее в стороны.

Он толкал эти каскады звуков то влево, то вправо, и вот у него уже стало получаться, музыка притихла.

Но тут за дело взялся солист. Он бросил свои ручищи на клавиши, и музыка, вырвавшись из-под его пальцев, ударила маленького человечка в грудь. Тот пригнулся, выставив руки вперед, будто шел против очень сильного ветра. Но с таким напором ему было не совладать. Музыка сдула его, прижала к перильцам дирижерской площадки. *«Вот зачем это сделано, если бы не было заборчика, дирижер свалился бы в зал, прямо на колени тем, кто в первом ряду»*. Теперь он стоял полубоком, прижавшись к золоченой перекладине, и лишь иногда грозил пальцем пианисту. А еще он улыбался, знал, что сумеет перехитрить музыку.

То, что тетя Вера ошиблась, и дирижер вовсе не управлял музыкой и не командовал оркестром, Эля поняла сразу. Совсем наоборот, маленький человечек просто жил внутри мелодии. То он сражался с ней, когда она становилась мощной и страшной, как ураган или цунами, то, улыбаясь, приплясывал на своей площадочке, разводя руки или крутя ладошками над головой. Или принимался сам делать музыку. Он лепил ее двумя руками, круглый комок музыки, мял его, ловил одной рукой звуки из воздуха и добавлял к уже вылепленному. Но комок становился очень большим, трудно было держать его, тогда он отсекал и отбрасывал лишнее, и снова лепил и лепил в воздухе видимую лишь ему мелодию.

Музыка стала похожа на пушистого птенца, дирижер покачал ее на руках и вдруг подбросил вверх. Эля даже испугалась, что птенец не полетит, упадет и разобьется, она отъехала к спинке своего кресла и протянула обе руки вверх, чтобы поддержать музыку.

– Прекрати елозить, ты совсем не слушаешь! – одернула ее мама.

«Я не елзю, я смотрю», – промолчала в ответ Эля. Она зря испугалась, взлетев к самому потолку, музыка рассыпалась там на звонкие золотые снежинки, и под ними приплясывал маленький затейник. Теперь, подняв руки над головой, он вытягивал из рукава разноцветные шелковые ленты, голубые, красные и желтые, и помахав ими, выпускал. Ленты плыли в зал, извиваясь в воздухе. Конечно, никаких лент на самом деле Эля не видела, но она прекрасно их слышала, и их цвет, и шелковый блеск.

Музыка, подпрыгивая, бежала по лесной тропинке, как Красная Шапочка. А потом превратилась в громадного черного медведя, топающего по лесу, не разбирая дороги. Но дирижер тут же кинулся ее умирять, он обнял музыку за плечи, и пошел вместе с ней, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу. Он очень хитрый, этот маленький волшебник. Вот только с солистом ему было не потягаться, как только музыку удавалось успокоить, тот сразу принимался за дело – рояль, раздвинув плечом все остальные звуки, вступал мощно и грозно. Но дирижер больше с ним не спорил, с тонкой усмешкой он сразу отступал к золотым перильцам и оттуда следил за пианистом, изредка показывая тому пальцем: «Нет, здесь ты меня не достанешь!»

Эля уже совсем перестала бояться за маленького человечка, тот ловко управлялся с музыкой, как бы она не нападала на него. Но вдруг возникла какая-то короткая тишина, совсем-совсем короткая, только вдохнуть, а выдохнуть уже не успеешь. И, собравшись с силами, и, видимо, за эту тишину забравшись на самый верх, к самому потолку, музыка рухнула оттуда вниз горным обвалом, водопадом, тайфуном. Эля еще успела увидеть, как волшебник на своем пяточке пригнул голову, выставил над ней руки, ладошками отбрасывая аккорды, лавиной летящие на него, а потом, закрыв глаза, она стала сползать под кресло.

– Господи, неужели нельзя посидеть спокойно, сама не слушаешь и всем мешаешь, – это мама вытаскивает ее за шиворот из укрытия, но музыка продолжает бушевать, и Эля сползает обратно.

И вдруг на зал упала тишина. Она прыгнула сверху вслед за особо торжественным аккордом, накрыла его и прижала к полу. Эля сразу открыла глаза и перегнулась через барьер: *«Что там внизу?»* Дирижер стоял на своей площадке, победно раскинув руки, и на своих ладонях держал тишину.

Но это длилось не долго, зал бешено заплодировал, завопил разными голосами «Браво! Браво!» Маленький победитель повернулся к зрителям и стал кланяться им, как будто это они выиграли сражение с музыкой. Мама и тетя Вера тоже хлопали, и Эля тоже, все так все.

Потом они спустились в гардероб, стояли в очереди за своими плащами, мама говорила тете Вере:

– Не надо было бы, конечно, ее брать, все равно ничего не понимает, весь концерт про-вертелась, – это она про Элю.

А тетя Вера говорила:

– Ну, конечно, для маленькой девочки Чайковский – очень сложная музыка, но она – молодец, стойко вынесла.

«Сами вы ничего не поняли. И никакого чая кофского там не было, там была только музыка и волшебник, смотреть надо было лучше», – молчала Эля, надевая перед зеркалом свою шапку и, хитро сощутив глаза, улыбалась своему отражению. Теперь она была Дирижер.

Наверное, именно с той поездки Эля заболела Ленинградом. Она собирала открытки с видами Города, читала путеводители и что-то из истории, даже «Справочник ВУЗов Ленинграда», случайно увиденный и тут же купленный в киоске «Союзпечать». Бесконечно приставала к матери с расспросами: «А где вы жили? А где был ваш институт? А вы купались в Неве? А самые вкусные пирожные в «Севере», да?» Это продолжалось годами. В девятом классе у них была поездка в Ленинград, вернее в Петродворец. Это был уже конец учебного года. Года, как всегда, оконченого на тройки с тоненькой прослойкой четверок и пятеркой по истории.

Майская теплынь. Беготня по парку и фотографирование в обнимку с сестрой у каждого фонтана. Юрка взял с собой фотик и теперь щедро тратил кадры на своих подруг. Экскурсия по Большому дворцу – подавляющая роскошь, бесконечная череда разнообразной красоты. Стекланные бутылочки пепси-колы, купленные в буфете возле «каретного сарая». Восторг и упоение.

Сидя в автобусе на обратном пути, глядя в последний раз на проносящиеся в рыжем свете вечерние улицы Ленинграда, Эля поняла, что хочет жить только здесь, только в этом Городе, переполненном под завязку строгой красотой каменных домов с перебивкой зелеными пятнами парков. В этом Циркаче, прыгающем через мосты с берега на берег бесконечных рек, речек и каналов. В этом Галантном Кавалере, окончательно и бесповоротно вскружившем ей голову. *«Я приеду сюда поступать на исторический факультет ЛГУ и останусь здесь навсегда»*.

Она прекрасно понимала, что ни в какой институт, а уж тем более в университет она со своими тройками не поступит. Со средним баллом аттестата «три с половиной» поступить она могла только в культпросветучилище в их городе. Ну может еще в медучилище, но это было совсем не то. Хотя мама настойчиво предлагала именно медучилище. Скорее даже, безапелляционно навязывала. В последние школьные дни Эля обошла всех учителей и попросила, нет потребовала, именно потребовала дополнительных заданий на лето и занятий по повторению в июне вместе с двоечниками. «Все лоботрясы, как могут, отлынивают, а Верховцевой, понимаете ли, приспичило!» – пожимали плечами училки, но отказать Эле не могли.

Эля с Ленусей удивлялись, что их вообще взяли в девятый. Другие с таким же количеством троек безропотно пошли в путягу, а их оставили в школе. Решили на мать. Может она сходила, поприседала перед учителями. Негоже, чтоб ее дочери в ПТУ оказались. Старшая – на заводе вкалывает, и младшие туда же. Семейка недоумков, стыдоба – на улицу не выходит. Но в данном случае они ошиблись. Откуда им было знать, что еще в начале восьмого класса, в сентябре, на первом педсовете директриса заявила:

– Верховцевых не трогать. Как хотите, хоть натягивайте, хоть дополнительно с ними занимайтесь, а в девятый они должны пройти. Они на себе всю школьную самостоятельность тащат.

И стенгазету школьную в придачу. Девочки безотказные, без фанаберии, что скажут, то и делают. Кого я на городские смотры выставить буду? Еще есенинский конкурс... Без Лены Верховцевой мы бледно выглядеть будем. Как она в прошлом году полчаса без остановки шпарила, помните? В общем, вы меня поняли.

Но девятый уже закончен, остался последний школьный год, знания на нуле, отметки аховые. Ленинград рискует остаться несбыточной мечтой.

И Эля начала учиться. Весь июнь она бегала в школу, повторяла, а скорее проходила заново эти чертовы алгебру с геометрией, химию с физикой. Боролась с ними, как с личным врагом. Рыдала над задачами, не желавшими сходиться с ответами. Сдавалась: «Сдохну, а не выучу. Это невозможно понять! Ну его совсем!» Но размазав слезы по щекам, начинала заново. Впереди, в мерцающей золотыми блестками розовой дали манил к себе рукой сладостный красавец – Ленинград. Город, где уже жила ее старшая сестра Люся. И наверняка, по мнению Эли, каждый день радовалась этой жизни, наслаждалась этим Городом, вкушала его, как самый дорогой деликатес. Уж она, Эля, точно бы смаковала каждый день, прожитый там.

Каждой – свое

Пока Эля зубрила, ее сестра гуляла с Юркой. Целыми днями— да здравствуют каникулы и летняя благодать – они шлялись по улицам. Гоняли на великах. Забирались в самые дальние уголки города, купались под стенами старинного монастыря или еще дальше – на скиту, от которого осталась одна маленькая церковка с луковичной маковкой. Вода текла у ног, синяя, утопившая в себе целое небо. Золотые ленты солнца колыхались в жидкой синеве. На них садились чайки.

Повсюду таскал Юрка с собой свой фотик, снимал Ленусю на пляже, в кафешке, просто на скамейке в парке, с велосипедом, со встречной болонкой, с бродячим котом. Настоящая летняя фотосессия. Хотя тогда, в конце восьмидесятых, таких слов не знали. Называлось это просто – «фоткаться». Он даже зарядил свой «Зоркий» цветной пленкой, свемовской, других в городе не продавали. И все эти снимки дарил ей. За месяц она накопила пухлый пакет.

Много лет спустя Ленуся, давно уже Елена Георгиевна, иной раз, когда дома никого не было, доставала этот черный бумажный пакет, засунутый на дно комода под забытые всеми старые скатерти, перебирала в одиночестве снимки, полинявшие от времени, ударившиеся в сиреневость. *«Лучше бы на черно-белую снимал, а то теперь сплошная сирень...»*. Работая сестрой-хозяйкой в частной стоматологии, она как-то нашла учебник по психиатрии, одна из медсестер, студентка меда, забыла. Прежде чем отдать, заглянула из любопытства внутрь, прочитала лишь одну фразу и почему-то запомнила ее так, что из головы было не выкинуть: «Пристрастие к фиолетовому или сиреневому цвету можно считать признаком вялотекущей шизофрении». Смотрела на старые фотографии, на себя, совсем юную, счастливую, думала: *«Вся моя жизнь – сплошная вялотекущая шизофрения, сиреневая»*.

Но до этого еще далеко. Это еще не наступило. Да и наступит ли вообще. А нынче Юрка с Ленкой даже пробуют целоваться за кустами в дальней части кремля возле маленькой, слегка рассевшейся, как пересохшая бочка, церквушки. Получается, правда, не очень – смешно и щекотно, как от трехкопеечной газировки. Приятно получается.

На июль, на вторую смену, мама, как всегда, взяла на работе две путевки в пионерлагерь. Это был шикарный лагерь на берегу огромного озера. И почему-то очень свободный. Всегда можно было втихаря смыться за территорию, побродить по сосновому лесу, выкупаться в озере. А можно было официально отпроситься за грибами. Вожатые, студентки местного педа, и воспитатели, мужики с завода, отпускали ребят из старших отрядов: «Только не по одному, и не потеряйте никого». А после ужина повара пускали их на кухню, и можно было жарить картошку с луком и собранными грибами. А еще устраивали лодочные походы по озеру на острова. И там варили в ведре на костре макароны по-флотски или уху из пойманных только что окуней и плотвы.

А «Зарница»? Они носились по лесу с картой, искали закопанные то там, то сям банки сгущенки. Что найдете – ваше. Путались, валились в канавы с узеньких, в одну досочку мосточков, подрывались на дымовых шашках, тащили на себе «раненых». А потом праздновали победу. Сначала награждение на линейке, и уже в домике – совместное поедание трофейной сгущенки. Две дырочки в серебристой круглой верхушке банки и сладкая тягучая струя стекает в жадный рот.

А конкурс инсценированной песни? Ну там обычно малышня выигрывает, традиция такая. А вот строевой конкурс, приложение к «Зарнице», в прошлом году выиграл их отряд. Как было здорово топать по асфальту строем и орать: «Белая Армия, Чер-р-рный бар-р-рон, снова готовят нам царский трон, но от тайги до бр-р-ританских морей Кр-р-расная Ар-р-рмия всех сильнее!»

В лагерь девчонки ехали охотно. Но в этот раз Элька уперлась:

– Не поеду. Мне заниматься надо.

– А куда я путевку дену? Что, назад в профком нести?

Мать ни за что не понесла бы путевку обратно. Это был дефицит. Доставались они не всем. Ходила, улыбалась, заискивала перед этой стервой, путевками ведающей, две бесплатные выбивала, зонтик ей японский подарила, ношенный уже, правда, но все равно. Японский же. А теперь обратно в профком путевку потащит? Что ж зонтик «Три слона» за одну только? Жирно будет.

– Мам, а давай Юрке отдадим. Я с ним поеду, – предложила Ленуся.

Отдать путевку на сторону было жалко, но уж ладно. Пусть Ленка с приятелем поедет, он хороший мальчик, хоть и безотцовщина, мать у него в управлении какого-то завода, вроде, работает. С таким дружить не зазорно. А эта пусть сидит, учится, может и правда в университет поступит. Соседи от зависти сдохнут. Эти рассуждения успокоили мать девочек, и в лагерь Ленка поехала с Юркой.

Когда они вернулись, по городу ходили уже, не стесняясь, взявшись за руки. А Эля получила от своего давнего друга лишь «привет» мимоходом.

– Привет. Ленка дома?

– Привет, Юрка. Чего не заходишь? Ленки нет.

– А-а... Ну я пошел.

– Да погоди, она за молоком выскочила. Сейчас придет. Ты проходи.

– Не, на улице подожду. Пока!

Упрыгал кузнечиком через две ступеньки вниз по лестнице. Уже хлопнула дверь подъезда, а Эля все стояла на площадке.

– Эля! Что ты там застряла? Закрывай быстрее. По полу – сквозняк! – прокричала мать из глубины квартиры.

Она говорила невнятно, зажав в зубах шпильки, волосы укладывала. Вместо «сквозняк» послышалось: «Поздняк».

– Поздняк, – повторила Эля, глядя через лестничное окно в спину уходящего со двора приятеля, – поздняк...

И зануло сердечко. Только тут она поняла, какую жертву требует от нее своенравный обольститель Ленинград. Нет, конечно, она не думала, что они так навсегда и останутся втроем, она, Ленуся и Юрка. Хотя, почему не думала? Именно так и думала. Она давно привыкла, что этот мальчишка всегда с ними. Сестрам не приходило в голову делить его. Юрка – это Юрка, их Юрка, их обеих. Так было всегда. Эля даже видеть его перестала, в смысле обращать внимание, какой он. Симпатичный? Красивый? Нет? Обыкновенный? Просто Юрка.

И вот оказалась лишней. Третий – лишний. Она, Эля – лишняя. Теперь она по-другому увидела Юрку. Высокий, а после месяца, что они не виделись, вытянулся еще больше. Не привык еще к своему росту, слегка сутулится. Тощий. Загорел там в лагере. А волосы нестриженные еще больше побелели, выгорели на солнце. На носу конопушки едва заметные. Обыкновенный пацан-десятиклассник, ничего особенного.

Вам ничего. А ей, Эле, вдруг стало очень даже «чего». Это она могла бы раскатывать с ним по городу, валяться на песке под монастырской стеной, слушать, как поет ветер, ласкаясь к холодной реке. Это ее он должен был фотографировать. Это с ним можно было попробовать... Интересно, а они с Ленусей целовались? Это она была бы с Юркой... Если бы не Ленинград.

Ну что ж. Значит Юрка достался Ленусе, а ей достанется Ленинград.

– Пошли домой, что ли?

– Нет, мне еще к Ольге Васильевне. У меня английский.

– Эль, зачем тебе после уроков-то еще корпеть? Козе – баян, икона – папуасу. У тебя же твердая четверка.

– Произношение. Ольга говорит: «Умение пользоваться чужим языком – это словарный запас плюс произношение. Если спряжение перепутаешь, тебя поймут. А вот если во рту каша – вряд ли». Она пообещала мне произношение поставить. Так что, Лен, ты иди... – Эля посмотрела на маячившего за спиной сестры Юрку, – вы идите, а я тут...

– Ну как хошь, зубри свой *зариз э дор*. Пошли, Юрка!

Ленуся с Юркой рванули к свободе, а Эля побрела на второй этаж в кабинет английского. Как там говорила «англичанка»? Суум квиве? Каждому – свое. Только это вроде не английский? Но домой Эля пришла значительно раньше сестры. Ленка заявила только в восемь вечера. Бросила портфель в прихожей на старый сундук. Плюхнулась на тахту, как была, в пальто и сапогах. Потянулась кошкой.

– Ты б разделась хоть. Чё так долго?

– В кино с Юркой ходили.

– Чего смотрели?

Хмыкнула:

– Чего, чего... «Ну, погоди!»

Эля могла и не спрашивать. Афиши всех четырех кинотеатров города зазывали на фильм «Пришло время любить».

И оно действительно пришло. Вместе с последней школьной весной. Вместе с теплынью последних школьных каникул. Дожди слизнули островки почернелого снега, застрявшего под деревьями парка. Надулись почки на голых прутиках краснотала возле кочегарки во дворе. Мартовские кошки расправили обвисшие за зиму крылья любви, взлетели на крыши и запели ночные серенады. Облака, взбив свежие прически, косились в отмытое зеркало реки. Хороши ли мы? – Хороши!

Время пришло и развело сестер.

Теперь Эля ходила в кино или в кафе-мороженое с подружками, а Ленуся... А Ленуся только что не ночевала у своего Юрки. Даже мама его уже привыкла видеть эту девочку у себя дома. А если сын уходил куда-то, значит, скорее всего не со своими приятелями Женькой и Стаськой, а с ней. Ну и прекрасно. Девочка плохому не научит, с ней ни водку на детской площадке пить не будешь, ни в драку не вяжешься. А то вон, другие матери жалуются на своих, то выпимши домой придет, то куревом от него пахнет, то вообще участковый с беседой явится, воспитывать. А ее Юра ничем таким не увлекается. В кино ходят, в парке гуляют или дома сидят, занимаются. Он Лену свою по математике подтягивает, все-таки выпускные экзамены не за горой.

Они действительно занимались. Этой долбаной алгеброй, этими расплзающимися омерзительными червями-*интригалами*, в которых Ленуся не петрила ни ухом, ни рылом. Да и Юрка-то не особо шарил. Но они открывали учебник, раскладывали на кухонном столе тетрадки. В комнате неудобно, там скатерть на столе, снимать ее, потом обратно, да ну.

– Давай, чего там задано?

Она лезла в дневник:

– Триста шестое и триста восьмое.

– И все?

– Ага, все! Там в каждом по восемь примеров. Математичка совсем оборзела, столько задавать. У меня эти производные уже из ушей лезут. Ты решай, а я пока чайник поставлю. У тебя есть чего-нибудь к чаю?

– Неа...

– Ну тогда я в магаз метнусь...

– Сиди. Вместе решать будем, – Юркина рука легла на плечо вскочившей с табуретки Ленке, – чай потом, когда отмучаемся. Булка есть.

Она притворно заскулила:

– Ну, Юрочка-а-а, я все-равно не сообража-а-аю...

– Сиди, счас разберемся с этими гадами.

Они разбираются. Сидят, плотно сдвинув табуретки. Юркина рука скользит по Ленкиной спине. Сверху вниз. Снизу-вверх. Вроде как успокаивающе. Но Ленусе кажется, что от этого бесконечного теплого скольжения вся ее спина начинает вибрировать. Она, как грозовая туча, накапливает электричество, и, если рука не остановится прямо сейчас, ее спина, да нет, вся она целиком лопнет, расколется перезревшим гранатом, брызнет во все стороны соком. Алым. Горячим.

«Пусть значения производной функции положительны... тогда угловой коэффициент... чего там с ним... а, вот, будет... будет...» – бормочет Юрка. Его голос заполняет Ленусю целиком. Она не слышит, не понимает ни слова, но голос волнами колыхнется внутри нее. Колыхнется и журчит легкой речной волной, набегающей на рыжий песок под белой монастырской стеной.

– Ленка, чего будет-то?

– Что? – Она хлопает ресницами.

– Ты спишь, что ли? Чего будет с угловым коэффициентом?

– В смысле? – Она продолжает не понимать.

– Положительным он будет или отрицательным?

– Отрицательным, – она просто повторяет последнее слово.

– Да с какого перепуга отрицательным?

– Тогда положи...

Ее губы совсем рядом. Не удержался. Наклонился. Поцеловал. Не дал договорить. Она подается ему навстречу и чувствует, как, наконец, лопаются внутри спекшаяся гранатовая корка, щедро расплескивая густую влагу. Горячую. Жадную.

Стянуть с него футболку. – Расстегнуть эту чертову кучу пуговиц, господи, да сколько же их у нее! – Учебник смахнули, *илеп*. – Табуретку опрокинули, *бух*. – Чайник засвистел, зараза, как вовремя-то, а! – Рукой сзади, не глядя, нащарить, выключить. – Тянуть его за собой в комнату. – Подталкивать ее к дивану. – Быстрее... – Быстрее! – Джинсы на пол. – Юбка сверху.

Это уже не первый раз.

Уже было.

В лагере.

Озеро. Берег. Неразличимое бормотание прозрачной волны. Нагретый бок перевернутой лодки. Все получилось быстро. Ушли за территорию, купались возле соседнего пансионата, загорали, привалившись к дырявому борту, целовались. Ну и... А что такого? Джульетта опять же... Лолита... И другие разные из литературы. В тот раз Ленуся не особо поняла, как и что, даже не осознала, понравилось или нет. Сопение и ерзанье. Алая капелька на горячем песке. Многому ли могут научить друг друга два девственника? Потом опять купались. Уже голышом. А смысл натягивать мокрые, обляпанные береговым мусором полосочки ткани?

Что-то изменилось тогда у нее внутри. В голове ли, в сердце, бог весть. Теперь она знала, не думала, не верила, не надеялась, а именно знала: с Юркой они навсегда.

Что мы знаем о детских влюбленностях? Что мы, взрослые, помним о них? Теперь, когда все давно прошло, заросло, заledenело. Хрустнуло льдинкой под неразборчивой пятой Времени. Вечно оно не знает, куда ногу ставить! Растаяла хрупкая труха, стекла тонюсенькой струйкой в общую реку жизни, исчезла в ней. И мы течем себе дальше, гоним корабли целей и лодочки надежд, крутимся возле утесов обид, брызжем пеной гнева, тремся о берега скуки и неудовлетворенности. Будто и не было в маленьком детском сердчишке маленькой теплой любви. Розовой, как нагретое на солнце яблочко чудного сорта Бельфлер-китайка. Кисло-сладкого такого яблочка. Кисло-сладкой такой любви. Сладкой от счастья и кисловатой от тревоги.

Ну все!

Труби, труба! Бей, барабан!

Школа позади.

Выпускной отгуляли. Сначала официальщина, поздравления, все по одному на сцену актового зала выходили, получали от директрисы свои аттестаты. Девчонки нарядные, в шелковых платьях, на каблуках, покрашенные, с прическами – кто сам накручивался, а кто и в парикмахерской отсидел очередь. В универмаг как раз в мае шелк японский завезли, всяких цветов. Все и накупили. Шелк одинаковый, а платья разные. У Эли – светло-зеленое, чуть ниже колена, рукав на запястье собран, и такой маленький воланчик, и на груди рюшечки-воланчики. Платье в ателье заказывали. А у Ленуси шелк такой серо-синий, как туча грозовая. Ей Люся платье сшила. Пока Ленка с фасоном определялась, в ателье очередь нарисовалась, всем же надо. Завошкалась – не успевает, давай сестре звонить: «Люська, спасай, без выпускного платья останусь!» Ну та подсуежилась, за неделю платье сварганила. Тоже неплохо получилось: на груди как-то хитро складки на один бок уходят, асимметрично, юбка-клеш и пояс широкий, тесьмой серебристой отделанный. А рукавов нет совсем.

После раздачи слонов в класс пошли. Там уже мамашки столы накрыли. Торты, пирожные, лимонад. Вина, само собой, не полагалось. Но пацаны притащили, втихаря за школой на спортплощадке из горла распивали что-то.

Потом дискотека. Опять же в актовом зале. Ряды кресел в стороны сдвинули, на сцене ансамбль школьный. «Вот, новый поворот... Скоро и мы с тобою... Я видел хижину и видел я дворцы... Ты, теперь я знаю, ты на свете есть... Хочешь, я в глаза, взгляну в твои глаза...»

Сколько уже этих дискотек было? Много... Но эта – последняя.

Многие девчонки домой сбегали, сменили каблуки на кроссовки, платья на джинсы и бадлончики. И Ленка тоже побежала переодеваться. А Эля не пошла. Зачем? Ну да, в брюках плясать удобнее. Но ведь это единственный раз – выпускной. И последний. Пусть будут босоножки на десятисантиметровой танкетке (мать из Риги привезла), пусть будет шелковое платье. Чего его жалеть? Выпускное, как свадебное – одноразовое. Куда она в нем еще пойдет? Хотя, может в Ленинграде? Там же тоже, наверное, будут дискотеки. Студенческие. Надо будет платье с собой взять. Обязательно.

Пока Ленка домой бегала, Эля Юрку пригласила на белый танец. А потом он ее на следующий.

– Уезжаешь?

– Да, завтра отосплюсь, еще сфотографироваться надо, три на четыре, а послезавтра с мамой поедем документы подавать.

– Молодец ты, Элька. Я б тоже в Ленинград поступать поехал. Но мне, сама понимаешь, родину защищать. Может после армии...

После дискотеки, ночью уже совсем, на кораблике по реке катались. А Ленка чего-то не пошла, сказала, голова болит. Эля с Юркой на палубе вдвоем стояли. Молчали. Юрка свой пиджак ей на плечи накинул: «Не мерзни». Эля думала: *«Вот так я могла бы с ним рядом вечно стоять. Жаль, что это теперь не мое место. Ленкино. А мое? Где-то мое место окажется? С кем рядом?»* Вдыхала тихонечко, чтобы парень не заметил. Было ей грустно. И казалось, почему-то, что и ему, Юрке, тоже грустно. Какой-то он был не радостный. Может, в армию идти не хотел. Может, завидовал ей, Эле, что отчаливает она, как пароход, в новую жизнь.

Да, отчаливает.

Последний гудок.

«Тай-ра-та-там-там-там...», – звучит марш из «Жестокого романса».

Завтра они с мамой поедут подавать документы в Ленинградский Университет. Высоко ты замахнулась, девочка. А что? Зря что ли она корпела над учебниками два последних года, продиралась через дебри ненужных ей химических формул, через тоску теорем, через непра-

вильные английские глаголы? Все для среднего балла аттестата – самой первой ступеньки для прыжка в светлое свое будущее. Завтра, завтра! Завтра оно наступит! Завтра они будут в Городе. Прогуляются по набережным, потолкаются в толпе Невского проспекта и главное – придут на факультет. Это будет в первый раз. В первый из тех многочисленных, которые ждут Элю впереди.

Люська приехала на каникулы. Тоже теперь студентка. Но у нее что-то технологическое, непонятное, неинтересное совсем. Но с ней хоть поговорить можно. О Ленинграде. И вообще. Последнее время Эля с Ленусей почти не разговаривают. Почужели как-то девчонки. Ленка с Юркой, а Элька с учебниками своими. Даже с виду разные стали. Раньше типичными двойняшками были: темные, почти черные волосы в две косички, глаза густого такого цвета, омутного; коричневые школьные платишки. Встанут рядом – не различишь. Это все от матери и бабки досталось, и глаза, и волосы. Совсем на старшую сестру с кудреватой каштановой копной и серыми в мокрую, болотную зелень глазами не похожи. Та в отца, в его родню, светлую, солнечную, вылилась. Собираясь в Ленинград, в новую жизнь, Эля подстриглась. Такое же как у Люси карэ сделала. Красиво. Мама, правда, ругалась: «Зачем косу отстригла? Теперь как агитаторша сельская!» Но что она понимает. Это модно и современно. Пусть Ленка с косой ходит, провинциалка.

Ленка в медучилище подалась. Хотела в культпросвет поступать, Юрка насоветовал: «Давай, – говорит, – я б тоже туда пошел». Но ему в армию осенью уходить. А так бы за компанию пошли. Но мать против кулька воспротивилась: «Попрешься потом в область в сельском клубе кружок вести. Дед Никанор с гармошкой, два пионера сопливых с ложками и пяток беззубых старух в кокошниках зажигательно поют: «Куда ведешь, тропинка узкая...» А, в медучилище у нее кадровичка – бывшая одноклассница Лилька Сидорова, Лилия Борисовна. Не велико начальство, а все же блат, куда ж без него. Так что девчонке прямая дорога к шприцам и бинтам. Медик и дома пригодится, и в жизни не пропадет. Работа востребованная, да и благодарные больные, глядишь, пятерку в карман халата сунут. Это все мамины рассуждения. Ленка согласилась: мед, так мед. А Эле все равно. Ее уже тут нет практически. Она из-за сияющего перед носом обольстителя-Ленинграда ничего не видит вокруг.

Не видит, что сестра ее уже неделю ходит смурная. С перевернутым лицом. Бабушка ей: «Ленок, Ленусенька, что с тобой? Ты не заболела? Может голова болит? Может на экзаменах перезанималась?» А та только: «Ничего... Не болит... Нормально все». Ага, перезанималась она. Еле-еле на четверки, где могли вытянули. Ну не без троек, конечно. Это Эля старалась, мандражила, зубрила. А Ленке хоть бы хны, лишь бы поскорее с плеч спихнуть.

И что Ленка с Люсей шушукаются, а как она, Эля, в комнату войдет, замолкают, тоже не замечала. Не обращала внимания. Не важно. Важно то, что будет завтра. Завтра – в Ленинград!

Ленуся смотрела на сестру с завистью: хорошо ей, выбила, выгрызла себе аттестат, свалит отсюда. И Люська уедет. И Юрка, гад, в армию на два года – отсиживаться, прятаться от нее. А она, несчастная, останется здесь одна. С дитем. Мать со свету сживет, как узнает. Что делать-то? Люське сказала. Больше некому. Никого у нее нет. Одна со своей бедой. Две недели задержка. Сначала и не сообразила, что к чему. Потом, неделя прошла, а красный день календаря не наступил, заерзала: ну как беременная. Опаньки. Запсиховала, задергалась.

Юрке сказала. Ему первому. Не одна же она это сделала. Вдвоем. Вдвоем и разгрести надо.

А он наорал на нее. Ну понятно, тоже перетрусил, как и она, но орать-то зачем.

– Это ты специально! Специально залетела! Подстроила! Мне в армию идти, а ты что, хочешь, чтоб мы расписались? Прямо сейчас? Чтоб я...

– Юра, ты что? Ты с ума сошел? Как я могла специально?

– Вы, девки, все можете. Считаете по дням. Небось, календарик ведешь, отмечаешь? Во-от...

Она не стала его слушать. «Подстроила». Чтоб его к своей юбке привязать. Придумал же. Гад какой. Надо было ему по физиономии надавать, ногтями расцарапать. Не хватило запала. Просто развернулась и ушла. Только дверью хлопнула так, что штукатурка с угла над косяком отвалилась. И каблуком этот кусок с размаху раздавить, растоптать. Хоть на нем отыграться.

Пришла домой. Хорошо, что никого нет. Родители на работе, бабушка, наверное, в магазин ушла. Ни Эльки, ни Люськи. Ленуся встала перед зеркалом боком, выпятила живот: «Вот, скоро буду пузатая, мать заметит. Убьет. Ну и пусть. Все равно – не жизнь. Кончилась жизнь». Она заскулила тихонько, зажмурилась, чтобы зажать, не выпустить на волю слезы, обняла себя руками и, раскачиваясь, начала подвывать сквозь стиснутые зубы. Сначала чуть слышно, потом все громче.

– Ты чего?

Открыла глаза – в дверях стояла Люська. Значит, дома была, может в сортире сидела.

– Я беременна.

Люся подошла к сестре, посмотрела ей в лицо. Серое, измученное, жалкое, с мокрыми покрасневшими глазами.

– От Юрки залетела?

Ленуся кивнула.

– А он чего?

– Послал меня. Сказал, я нарочно.

– Козел.

– Ага.

– Мать не знает?

Сестра помотала головой. Люся обняла ее за плечи, потянула к тахте. Когда-то давным-давно она так обнимала сестренку, садилась с ними где-нибудь в уголке, чаще всего в мамином шкафу, и рассказывала им сказки. Вычитанные из книжек или придуманные только что, сшитые на живую нитку, с расплзающимся сюжетом и нелогичными героями. И все горести детские, обиды на подружек или на мать тут же исчезали, таяли, растопленные придуманным солнцем. Но вряд ли это сработает сейчас.

– Слушай, а ты уверена? Сколько у тебя задержка?

– Дней десять... Или восемь... Или двенадцать...

Люся присвистнула. Да, не хило. Хотя... Есть же какие-то средства... Она почесала нос, вспоминая. Лариска, соседка по комнате в заводской общежитии, что-то говорила на этот счет. *«Что-то нужно заварить? Травы какие-то... Минутку... Не травы, цветы... Но вот какие? Может бабушку спросить. Это, типа, народное средство, может она знает. Но вот как спросить, чтоб та не догадалась».*

Ленка опять начала подскуливать, шмыгать носом.

– Не реви, я думаю. Надо бабушку расспросить. Она, наверняка, знает какое-нибудь средство.

Ленка отпрянула:

– Ты что? Как я ей скажу?

– Никак. Я скажу. Навру чего-нибудь. А ты сопلي подбери. Ходи и улыбайся. Чтоб не догадались. Ну а если не выгорит, приедешь ко мне в Ленинград, аборт сделаешь.

– Ты что? Где? Кто мне его там сделает?

– Пойдешь в поликлинику по моей карточке. Там, ведь, фотографии нет.

Улыбаться у Ленуси не очень получалось. Но ныть она перестала. На сестру понадеялась.

Если Люся не поможет, значит, так тому и быть, родит ребенка. *«Не смерть же. Вон я кино видала: там все школу закончили, разъехались, разбежались, а главная героиня, самая хорошая-красивая осталась с пузом, ее тоже парень бросил, струсил. Через год собрались, хвастаются: «Я этот... Я тот...», а она говорит: «Я – мама». Родила себе Васюку и счаст-*

лива. *Вот и я тоже какого-нибудь Ваську рожу...*» Но от этих мыслей легче ей не становилось. Наоборот, становилось кисло. Холодно и пусто. Тоскливо.

На выпускном опять с Юркой попыталась поговорить. Парни за школу покурить, винца хлебнуть выходили. Она к Юрке подошла, разговор, мол, есть. Вышли в яблоневый сад. У них за школьным стадиончиком сад был, ботаничка вечно там ковырялась, считала его своим собственным, даже грядки у нее там были. Яблони только-только отцвели, вся трава под деревьями лепестками засыпана, как снегом.

– Ты не трись, Юрка, я тебя в ЗАГС не тяну. Сама разберусь.

Он хмыкнул:

– Как разберешься-то?

Ленуся прижалась спиной к стволу, почувствовала, как сквозь тонкий шелк платья впи-
ваются в кожу сучки и неровности дерева. Стояла, задрав голову, смотрела ему в лицо снизу
вверх. *«Ему ведь меня совсем не жалко. Странно. Он всегда добрый был, щедрый... Куда же его
доброта подевалась? Зачем я вообще с ним разговариваю? Хочу успокоить? Что ему ничего
не грозит? Я – его – успокоить? Почему меня никто не успокаивает? Только Люська. А ему
все равно...»*

– Обыкновенно. Аборт сделаю. Или ребенка рожу. А что, еще какие-то варианты есть?

Он оперся рукой на ствол возле ее головы, наклонился чуть ниже.

И Ленусе показалось, сейчас он ее поцелует.

Вот сейчас.

Так, как целовал всегда. Сначала пару раз сухо клюнув в губы, а потом крепко, сочно.
Обнимет, прижмет к себе. И исчезнет холод и тоска у нее в груди. Осыплются серыми лепест-
ками на землю.

И снова будут они вместе.

Навсегда.

– Ленка, а зачем ты мне все это говоришь? Ты сама все решила. Сама решилась на залет.
Теперь говоришь, сама все разрулишь. Флаг тебе в руки. Я-то при чем?

Поговорили...

Она домой пошла. Брела дворами, поскуливала, подвывала побитой собакой, размазы-
вала по лицу тушь со слезами. Потом умывалась на колонке. Нельзя же в таком размазанном
виде с выпускного вернуться. И мать, и бабушка сразу уцепятся: «Что случилось? Чего да
как...»

– Ты чего так рано? – бабушка сразу забеспокоилась, увидев внучку в прихожей.

– Да... Я это... Переодеться пришла. Не могу на каблуках танцевать. Все переодеться
пошли. Ну почти все...

– А Эля?

– Что Эля? А ... Она не хочет. Ей и так хорошо.

Пришлось возвращаться в школу. И даже плясать там. Хотелось забиться куда-нибудь
подальше и плакать, а надо было улыбаться и плясать.

На следующее утро мать с Элькой уехали в Ленинград. Воспользовавшись их отсутствием
Люся решила попытать бабушку по поводу народных средств. Выпроводила Ленусю на улицу:
«Ты иди, там, не знаю, погуляй что ли... раньше, чем через час не приходи».

Думала Люся с чего разговор начать, да так и не надумала. Брякнула:

– Ба, ты какие-нибудь народные средства от беременности знаешь?

Бабушка аж вздрогнула:

– Ты что, Люсенька? Зачем тебе?

– Да не мне, ба. Соседка моя по коммуналке, Ирка мается. У нее задержка, а на аборт
она боится идти.

Тридцати с лихом –летняя Иришка, мать одиночка с Дашкой на руках на роль перепуганной залетевшей малолетки подходила мало. Но бабушка ее не знает, не видела и вряд ли когда увидит. Так что сойдет.

– У нее какие-то проблемы со здоровьем, она наркоз не переносит. Никакой. Даже зубы сверлят ей без новокаина. А аборт на живую, без обезболивания – это не зуб сверлить. Она всех опрашивает, чего б такого попить, чтоб само рассосалось. Говорит, какие-то цветы надо заварить. Не знаешь?

– Тьфу, прѡпасть... Напугала меня, девонька. Точно Ирка? Или...

– Да точно. Знаешь, если бы мне понадобилось, я б тебя не спросила. Ты маме расскажешь, она до неба взвоется. Так разорется, что все само отвалится, и аборт не понадобится, – Люся рассмеялась для полной картины личной незаинтересованности.

И бабушка поверила.

– Ну есть, конечно, средства разные. Вот в войну, когда в Вологде жили, одна девчонка со склада нагуляла с солдатиком. Хорошо рано спохватилась. Долго-то тянуть нельзя. У соседки твоей какой срок?

– Дней десять, а что?

– Дак если две недели пройдет, уже не сработает. Да еще и ребенок пострадать может. Дураком или уродом родится. Быстро все делать надо.

– Да что делать-то?

– Ну в войну-то одно средство было. Лепестки пиона красного заваривали. Попьешь, и месячные придут.

– Пиона? И все?

– Да.

– А другие какие? Что-то я не видела никогда в аптеке лепестки пиона. Там только ромашка и кора дуба. Где она пион сейчас найдет? В Городе-то. Может есть еще чего?

– Есть. Совсем простое. Пусть в аптеке аскорбинку купит. Только не ту, что вы в детстве покупали. Не сладкую. Без глюкозы. А баночку желтеньких драже. Их там сто штук. И надо разом всю банку съесть. Водой запивать. Но не много. Воды не много. Аскорбинка пробьет.

Люся глаза вытаращила. Как? Такое простое средство, в любой аптеке бери. Откуда тогда в стране проблема абортот? Если любая тетка может аскорбинкой от беременности избавиться.

– Да ну тебя, ба. Я серьезно спрашиваю, а ты мне пули в уши заливаешь. Что мне Ирке сказать, чтоб витаминок поела?

Бабушка плечами пожала:

– Верь-не верь, а только это средство я на себе проверила.

– Ты?

– Я. И мама ваша тоже. Было дело. Только вы родились, года не прошло, а она опять забеременела. Вроде вас грудью кормила, не должна была, а вот случилось. Куда еще четвертый-то ребенок. Но вот аскорбиночки выпила, и не пришлось на аборт бежать, скоблиться.

Люся бабушку в щеку чмокнула:

– Спасибо, ба. Завтра Ирке звякну, пусть в аптеку бежит. Я прогуляюсь пойду. Купить ничего не надо? Батон? Ладно, куплю.

И Люся помчалась за аскорбинкой.

Может помогла та баночка копеечных витаминок, а может Ленуся зря тряслась, не было у нее никакой беременности. А задержка, что ж, мало ли какая была причина, женский организм – дело темное. Только уже на следующий день все Ленкины проблемы смыло багровой струей. И никогда еще она так не радовалась «красному дню календаря».

Ленка была счастлива, зато Элька вернулась домой из Ленинграда мрачнее тучи. На второй день вернулась. С документами. Что? Как? Почему не подала документы-то в универ? Чего сразу вернулись?

А вот чего.

Это был самый прекрасный день. Солнечный, отмытый вчерашним теплым дождиком. *«Скорее, скорее, мама!»*

Автовокзал, трамвай... *«Где мы? Ах да, это же Площадь Восстания! Мы на метро? Нет? А, на троллейбусе...»* Подхватить желтую сумку, новенькую, красивую, с двумя белыми кармашками спереди, но тяжелую – семь учебников по истории, с четвертого по десятый класс, плюс одежонка кой-какая, да баночка варенья: крохотные красненькие яблочки в золотистом сиропе, рубинчики в янтаре, бабушкино фирменное.

Троллейбус неспешно ползет через весь Невский. *«Это Гостиный двор... А, это Север, сюда я приду за пирожными... Кассы Аэрофлота... Мрачный, черный домина. Все равно красивый. Здесь все красивое».*

Эля вертит головой. В одном окне – Эрмитаж, в другом – Адмиралтейство. Как охватить все разом? Она впервые видела эти здания так близко. Но так хорошо их знала. Столько раз рассматривала открытки и картинки в альбомах. Столько про них прочитала. У нее было ощущение, что она вернулась. Не приехала в новое, абсолютно незнакомое место, а вернулась к старым друзьям, с которыми давно не встречалась. Вернулась домой.

Домой?

Откуда это чувство? Почему, выйдя из троллейбуса на Стрелке Васильевского острова, она вдруг ощутила поднявшуюся в груди теплую волну?

«Я дома».

Желтое квадратное здание, со всех сторон схваченное арочной галереей – истфак Университета, ее, Элин, факультет.

Вход. Народ толпится. Тоже поступать собираются. Направо – стрелка бумажная – философский. Налево – исторический. Лестница. Снова стрелка – приемная комиссия.

Мама в коридоре остается.

Эля входит:

– Здравствуйте...

Тут тоже толпа. Очередь. Столы вдоль окон, за ними девушки, выдают бумажки:

– Заявление пишите... Вон там сядьте...

Эля пишет. Фамилия, имя, отчество... место рождения... образование... национальность...

– А социальное происхождение, это что? – тихонько спрашивает у парня, сидящего рядом.

– Ну, родители у тебя кто?

– Мама – инженер, а папа – в отделе кадров.

– Пиши «из служащих».

– А-а-а... Спасибо.

Эля пишет.

Все пишут. Шепчут шариковые ручки по листам анкет и заявлений. Стоит гул голосов: *«Конкурс большой... В прошлом году восемнадцать человек на место было... Провалился... Год на заводе... Если опять – на подготовительное пойду... А, место в общежитии дадут?.. Я в Эрмитаже два года занималась... У меня спецшкола английская... Если балл не доберешь, на заочный можно перекинуть документы...»*

Эля высказывает в коридор:

– Все, мама, теперь я – абитуриентка. Вот, – протягивает матери бумажку, – место в общежитии. Пошли?

– Пошли. А адрес какой?

Эля смотрит в листок:

– Пятая линия.

Еще пара-тройка формальностей, медосмотр, бухгалтерия...

Медосмотр был в большой аудитории, абитура брела вдоль столов неспешным стадом, позвякивая: рост, вес, давление, зрение... Эле это напомнило призыв в армию, виденный в каком-то безымянном кино. Вспомнила про Юрку, ему скоро так... Но вспомнила мимолетно. Разве до него сегодня? В бухгалтерии – очередь в окошечки. Вдоль очереди мечутся ушлые агенты Госстраха: «Страховочка от несчастного случая... Страхуемся... Вдруг травма... Палец порежете... Рубль двадцать всего... На год...» Мама Элю застраховала.

Они переходят небольшую площадь, пустую, кроме газона в ее середине, здесь больше ничего нет. Слева – красный торец Двенадцати Коллегий, справа – серый фасад, выше последнего четвертого этажа буквы: «Библиотека Академии наук». Аллеей идут в сторону реки, выходят на набережную. Теперь налево.

– Мама, ты знаешь, куда идти?

– Приблизительно... Давненько тут не бывала. Но Город не меняется. Вон, смотри на том берегу – желтые корпуса. Видишь? Это химзавод. Дальше Тучков мост. До него дойдем, там на Малый проспект свернем. Ну и Пятая линия где-то там будет. Найдем, Эля. Найдем.

Нашли.

Тяжелая дверь хлопнула за спиной, поддав напоследок ветерком. Серый, крашеный масляной краской, скучный тамбур. Холодно как в погребке. Там, снаружи – июль, солнце, жара припекает горчицей, хочется закутаться в кружевные тени листвы как в шаль. Здесь – застоявшийся, какой-то подземельный, мутный студеной полумрак, вызывающий мгновенный озноб. Сжатое пространство, без окон, свет падает откуда-то сверху, с лестницы, закручивающейся вокруг пустоты. Был лифт? Да, наверное. Волнообразным рыбьим движением отражения Эли и ее мамы проплыли сквозь пыльное зеркало, вынырнули с другой стороны из стекла пустой вахтерской будки.

Кроме как наверх, идти было некуда. И они пошли. А там гостеприимно помахала отклеившимся концом стрелка со стены: «Поселение абитуриентов».

Сразу представился этакий поселок, то ли из хижин, то ли из вигвамов, между ними слоняются абитуриенты-очкарики, тащат учебники. Куда тащат-то? А, вон там посередине на поляночке – костерок. Подкидывают книжицы свои, шурудят палочкой: «Гори-гори ясно...» Трепещут бабочкиными крыльями страницы всяческих историй: от Древнего мира до Новейшего времени. Трещат в огненном жару. Взмывают в небо Фемистокл с Периклом, Плеханов с Бакуниным. Разлетаются искрами. И кипит в котелке над сгорающими эпохами неведомое варево, может уха, а может новая реальность. Кипит, булькает...

Но нет. Нет никакого поселения. Комната есть. В углу свернутые матрасы, на столах стопки постельного белья, одеялки коричневые в клеточку, в пионерском лагере такие были. Казенный уют. За столом – деваха толстая. Комендантша? Не похоже. Может тоже студентка? На раздачу посажена. К ней человек пять-шесть. Очередь. Абитуриенты-очкарики. С сумками, чемоданами. Внутри книжицы. От Древнего мира до Новейшего времени. Парочка мам за компанию.

Эля получает ключ, одеяло, белье и матрас.

– На четвертый поднимайтесь.

Мама тащит матрас, Эля все остальное.

Четвертый этаж не последний, но выше не подняться, лестница закрыта на веревку. Вербка бельевая, старая, грязная, вся в узлах, привязана одним концом к перилам, другим – к обляпанному белилами стулу. Посредине веревки висит табличка с черной молнией и надписью: «Не влезай, убьет».

– Что это? – Эля оторопело таращится на табличку.

– Ремонт еще не закончили, после пожара, – за их спинами проходит парень в мятых шортах, смахивающих на старые семейки, и в клетчатой рубашке с отрезанными или оторванными напрочь рукавами.

В руке у парня чайник, из носика струит пар.

– А когда пожар был? – мама с трудом разворачивается, выглядывает из-за полосатой скатки матраса.

– В мае.

– В этом мае? Месяц назад?

– Нет, – парень неспешно удалялся между двумя рядами дверей, серых, таких же серых, как и стены, – еще в прошлом году.

– А как же... – Эля не знала, что именно она собиралась спросить.

– Да чё... Умывалки работают, сортиры тоже... Живем! – жизнерадостно прокричала исчезающая за поворотом коридора клетчатая спина.

Они переглянулись.

– Ну знаете... – мама, поджав губы, покачала головой.

Комната, которую открыла Эля маленьким ключиком с веревочкой и бумажкой с затертыми цифрами «57», была, как минимум, странной. У одной ее стены в три ряда друг на друге стояли тумбочки. Много старых покоцанных тумбочек, без замков и часто даже без ручек. У другой, напротив, друг на друга были водружены железные кровати с панцирными сетками.

О, эти вечные кровати, спутники пионерского детства и комсомольской юности не одного поколения советских людей. Откуда они пришли? Появились они вместе с советской властью, став ее железным воплощением, или явились еще из имперского прошлого страны? Но где тогда они использовались? История умалчивает. По крайней мере, ни одному из нас, ни одному из личностей, входящих в пестрый анклава Автора, ничего не известно о дореволюционном существовании этих неубиваемых монстров. Зато во времена застоя мы встречались с ними многократно. И честно говоря, до сих пор считаем, что самое лучшее для них применение – прыгать на металлической сетке, как на батуте, слегка придерживаясь руками за высокую спинку, чтобы не улететь незапланированно за ее пределы.

Остальные две противоположные стены заняты – одна окном, голым, не занавешенным ничем, неприкрыто бесстыдным, и батареей под подоконником, вторая, та в которой была дверь, большущим шкафом. В дверцы шкафа, так что его было не открыть, упиралась еще одна кровать. Такая же панцирная. Да, еще прямо на подоконнике почему-то стоял стул. И все, тумбочки, кровати, пол, давно не крашенный деревянный паркет, выложенный квадратиками, все в комнате было покрыто легким серым налетом. То ли пылью, то ли пеплом, то ли составившейся известкой.

Впечатления уютной или хотя бы жилой комната не производила.

Эля бросила на железную сетку стопку белья, опустила рядом свою сумку, на пол поставить не рискнула, грязно.

– Ничего себе, университет! У нас в общежитии было намного лучше. Это еще в те то годы! А здесь что за кошмар! – Мама пристроила свою полосатую скатку на ту же койку, провела пальцем по подоконнику, – тут все мыть надо. Нет, пойдем, пусть тебе другую комнату дадут. Не может быть, чтоб везде так было.

– Мам, может завтра... Пойдем лучше в Город. Погуляем.

– Нагуляешься еще. Или пусть другую комнату дают, или хоть пол что ли помыть, – мама начала сбавлять обороты.

– Завтра я все намою. Пойдем в Город!

Эля открыла одну из тумбочек, наугад, и пискнула. Там сидел, глядя прямо на нее, шевеля своими усами-антеннами, таракан. И еще кто-то порскнул в темную глубину.

– Ма-ам!

– Что?

– Тут тараканы...

Как-то давно, ей было года четыре, зимой, ей казалось, была глубокая ночь, но зимой всегда ночь, она вышла на кухню. Пить хотелось. На столе, она знала, бабушка оставляла стакан с водой, прикрытый блюдечком. Выключатель высоко, не достать. Темно. Только синим огнем горят конфорки на плите. Батареи плохо греют, чтобы хоть как-то, как она говорит, натопить квартиру, бабушка газ зажигает. Эля протягивает руку к стакану и видит в синем мертвом свете – тараканы *порск* в стороны. Разбегаются по столу. Ей кажется, она слышит шорок множества маленьких лапок: *шурх-шурх*... Она замирает. Взять стакан уже никак не получается. Эля бежит в комнату, кричит: «Ма-ам, мама!»

– Гадость какая, – мать захлопывает дверцу тумбочки, – черт знает, что!

Потом они ходили по этажу, мать инспектировала туалет, умывалку и кухню. Отремонтированные, видимо, совсем недавно умывалка и сортир ее удовлетворили, а вот кухня с побитыми жизнью газовыми плитами и ободранной раковиной не особо. Под раковину задвинуты два огромных бака для помоев. Клеенка на столах, изрезанная ножами, с загнутыми, посеревшими от грязи краями.

– Понятно, откуда тараканы берутся. Полная антисанитария. Куда смотрит комендант?

Они все-таки идут на улицу.

– Мам, поедem на Невский.

– Зачем?

– Ну в «Север» зайдем или в Гостиный двор...

– Нет, Эля, поедem во Фрунзенский универмаг. Может купим тебе что-нибудь. Ты теперь без пяти минут студентка, взрослая девушка, надо выглядеть соответственно.

По широкой лестнице универмага они поднимаются на второй этаж в «Женскую одежду», перебирают вешалки с кофточками, юбочками, тащат что-то в примерочную, снова трясут брючками и маечками. В результате Эля становится обладательницей белого костюмчика: подкороченные штанишки, темно-синяя блузочка без рукавов и пиджачок, белый, с рукавом до локтя и треугольным вырезом, без воротника. Эле нравится. Вот бы в таком виде пройтись где-нибудь на морской набережной. Но и здесь в Ленинграде тоже будет неплохо. Себе мама купила летнее платье, сверху похожее на рубашку: куча мелких пуговиц и маленький воротничок, снизу полуклеш юбки, а посредине – узенький ремешок из козжама.

Потом они зашли в какую-то столовку, но она уже закрывалась, и им достался только винегрет и чай с булочками. И уже возвращаясь, выйдя из метро на Васильевском острове, они завернули в кафе-мороженое, взяли по сто грамм пломбира с сиропом и по чашечке эспрессо из огромной, шумной, как паровоз, кофе-машины. Гулять, так гулять.

При желтом свете висевшей под потолком лампочки в комнате с номером 57 стало несколько уютнее. Мама заправила постель и улеглась.

– Давай, не сиди долго. Свет гаси.

Никакой настольной лампы или ночника в комнате не было, не считаешь. Оставалось только лечь спать. Вдвоем им было тесно, при каждом движении кровать скрипела, сетка под спинами начинала содрогаться в конвульсиях. Но Эля устала. Она поняла это, как только приткнулась к матеpиному боку и закрыла глаза. «*Спать, завтра будет новый день, такой же прекрасный, как нынешний*», – она засыпала и еще слышала, что кто-то громко разговаривает в коридоре, кто-то смеется, где-то рухнуло что-то тяжелое, и где-то, может быть, уже в ее сне протренькала гитара.

Грохот.

Что это может так грохотать среди ночи?

Это стучат в дверь! В картонную общежитскую дверь. Со всей силы стучат. Кулаками. И еще орут: «Открывай!»

Эля подскочила. Мама рядом. Тоже не спит. В комнате призрачно-светло. Серо за окном. Ночь? Утро?

В дверь продолжают стучать.

– Что это? – Эля шепчет, словно боится, что ее услышат.

– Наверное, дверью ошиблись. Пьяные... – мать тоже говорит тихо.

Тоже боится?

Эля натягивает одеяло до самого носа, прячется.

– Что делать, мама?

– Постучат и уйдут. Не будем отвечать. Пусть думают, что здесь никого нет.

Стучать перестали. За дверью громкие голоса. Мужские. Но что говорят, не разобрать.

Смех. Шаги. Вроде ушли.

Мать смотрит на часы: шесть утра. Они успокаиваются. Можно еще поспать.

Но только Эля закрыла глаза, заново угнездилась в этой металлической провисшей авоське, как за дверью опять загорланили мужские голоса, что-то заскребло в дверь, и *блямс*, вставной челюстью лязгнул отжатый замок, и дверь распахнулась, грохнув о выставленный угол кровати.

Натянутое до ушей одеяло, две пары испуганных глаз.

– Ой!

– Японский городской! Мы думали, тут никого... Извините...

В комнату валились трое парней в заляпанных краской рубашках и спортивных. У одного на голове газетная шапка.

– Мы, это... Ремонт типа... А, вы чего не отвечали? Мы ж стучали...

Мама очнулась первой:

– А ну выметайтесь отсюда живо!

– Да выметаемся, выметаемся, чего орать-то... Сказали б сразу, что тут занято...

Пожав плечами, парни ушли. Было слышно, как они ржут в коридоре. Это они над ними, над ней, над Элей смеются. Эле стало жутко неловко. Правда, чего они молчали? Надо было сразу заорать: «Пошли вон!» И парни бы ушли. А они под одеялом затихарились. Глупо-то как!

Мать вылезла из кровати, прошлепала, засунув ноги в расстегнутые босоножки, к двери:

– Замок сломали... Теперь не закроешь...

– А что делать? – Эля чувствовала себя кисло.

Такой был день! Самый важный день в ее жизни. И такой конфуз. Называется: «А поутру они проснулись...» Ей казалось, что все теперь будут над ней смеяться. Спряталась под одеялом! – Ха-ха-ха, детский сад. Девочка, беги к маме! Кто такие «все», она не задумывалась. Наверно, это она переняла от матери: что скажут, как посмотрят. Ей самой не нравилась такая зависимость от чужого глаза, но избавиться от нее она не могла.

– Не знаю. Может кроватью припереть? Тогда не открыть будет снаружи. Наверно...

Они стали толкать тяжелую койку к двери. Но она не хотела вставать вдоль, мешал шкаф, пришлось придвинуть ее наискосок, припереть дверь одной стороной спинки. Но только они выстроили свою баррикаду, в дверь опять застучали. На этот раз тихонько. И донесся женский голос: «Извините. Откройте, пожалуйста. Я из студсовета...»

Они потянули железный одр в обратную сторону, ножки проехали по убитому паркету с залихватским взвизгом: «*Й-й-ех, тр-р-ех!*» Дверь приоткрылась. В комнату просунулось заспанное лицо давешней девахи, той, что раздавала ключи поселенцам. Она принажала на дверь круглым плечиком, обтянутым ситцевым халатиком в белых ромашках по синему полю. Кровать отъехала еще, не забыв возвестить об этом соловьино-разбойничьим посвистом: «*Й-*

й-и-зи-и!» Эля даже покраснела от неловкости ситуации: «Она, эта девица, поймет же, что мы со страху дверь приперли. Вот дурдом!»

– Я это... Я вам не тот ключ дала... Тут ремонт должны были делать... Они это... Барахло выносить пришли... А, вы в пятьдесят вторую идите... Там, дальше по коридору.

– А что в пятьдесят второй никого нет?

Деваха похлопала белесыми ресницами:

– Почему никого? Там это... Там девочки. Трое или четверо, я сейчас не соображу. Если трое, значит, есть свободная кровать, а если четверо – надо притащить еще одну.

Мама, как видно, только и ждала такого предложения. Воткнув кулаки себе в бока, она подалась в сторону студсоветчицы. Загремели пушечные раскаты:

– Вы что, хотите, чтоб мы сейчас, в шесть утра поехали по коридору на кровати? Как на броневике? И стали ломиться в комнату к девочкам? Пустите переночевать? Вы совсем рехнулись? Да я сегодня же в деканат... Я в ректорат... Да я...

«Хорошо, что между ними кровать стоит, а то бы мама нависла над этой несчастной толстухой как статуя Командора. Как воплощение неотвратимой расплаты за грехи семи колен. И гвоздила бы ее сверху, пока в пол не вобьет. Мама может».

Но ситцевая деваха и не думала сдаваться:

– Да вы вообще кто? Чё вы кричите на меня? Кто вас вообще пустил в студенческое общежитие? Посторонним тут не положено! Вы давайте, уходите сию секунду, а то я это... Коменданта вызову... и милицию... Уходите! А она, – взмах пухлой руки в Элину сторону, – пусть это... Пусть в пятьдесят вторую топают.

Расклад выходил не в пользу Командора. И мама мгновенно откатилась на заднюю линию обороны:

– Ну что вы... Как вы говорите, вас зовут? Наташа? Наташенька, мы сейчас не будем никого будить. Хорошо? Мы тут спокойненько доспим, часок-полтора. А потом я домой уеду, а дочка переселится, куда вы скажете. Хорошо? Да? Ну вот видите, все и разрешилось... Ничего страшного... Просто недоразумение... Я же понимаю, у вас столько работы сейчас... Каждый может ошибиться... Ничего страшного... Да?

– Да...

И кровать опять, посвистывая-постанывая, поехала к двери, закрывшейся за ситцевой студсоветчицей Наташей.

– Идиотка, – бурчала мать, толкая панцирного мастодонта, – ключи она перепутала, хабалка толстомясая, свинья безмозглая... Это не университет, это вертеп какой-то... Грязь, тараканы, антисанитария полная. В студсовете дуры сидят... Черт знает, что!

Но все эти тревобления не помешали им снова заснуть. И только где-то около восьми утра, когда общежитие наполнилось звуками: криками, топотом ног, неразборчивым пением, металлическим звяканьем посуды и запахами: кофе, жареной картошки, подгоревших блинов, масляной краски, Эля и ее мама заворочались в сетчатой ловушке доисторической кровати и окончательно проснулись.

– Зубы почисти.

Когда Эля вернулась из умывалки, а там была некоторая очередь, утро – всем надо, мать, уже полностью одетая, сидела на краешке железной койки. Рядом – матрасная скатка и сложенное белье, на коленях Элина желтая сумка.

– Переезжать будем?

– Нет, Элинька. Уезжать. Нечего тебе делать в этом бедламе.

– Мама, нет! Почему?

У Эли не было слов. Она просто задохнулась этим «уезжать». Но мать не дала ей даже толком возразить:

– Это не общежитие. Это бардак. Публичный дом. Черта в ступе. Поедешь домой, поступишь в пединститут. Там тоже есть исторический факультет. И не реви, – она видела, что глаза дочери были на мокром месте, – нечего реветь. Хорошо, что я с тобой поехала. А то неизвестно чем бы это все закончилось.

– Но другие как-то живут, мама...

– До других мне нет дела. Ты моя дочь. Я не могу оставить тебя в этом гнезде разврата и антисанитарии. Может, мы тут еще и вшей нацепляли. Вон у меня голова уже чешется.

Нынешнее утро стало обратной копией вчерашнего: сдать белье давешней толстухе, пройти набережной до истфака (это уже не твой факультет), забрать документы (ты здесь чужая), троллейбусом проехать через Невский (последний раз, Эля), две остановки на трамвае до Обводного канала, автобус домой (прощай, Ленинград). Всю дорогу от хлопнувшей за спиной общежитской двери, до самого родного дома Эля молчала. Только «да-нет»: «Да, положила документы в сумку... Нет, мороженое не буду, не хочу... Да, постою в очередь в кассу... Нет, можешь мне ничего не покупать...»

Она не плакала, но проплывавшие за стеклами виды Города были нечеткими, какими-то расплывчатыми, смазанными по краям. Может быть это слезы стояли у Эли в глазах. А может быть, собирался дождь. Ведь нельзя же, чтобы все время солнце. Должен же и дождь когда-то пойти. Сегодня бы очень кстати.

И только ночью она дала себе волю. Лежа в бабушкиной комнате на диване рядом со спящей или делающей вид, что спит, Люсей, Эля тихо плакала. Хоронила-оплакивала свою мечту о новой жизни, об обманщике Ленинграде, что звал ее к себе, обещал жизнь светлую, полную красоты и радости, а когда она приехала, повернулся к ней немой гнусной харей. Вылезла из-под шитого золотым позументом камзола драная майка-алкоголичка, пахнуло в нос застарелым перегаром и нестиранными носками.

Бабушка присела в темноте на краешек. Погладила внучку по стриженной голове:

– Ничего, Элинька... Все пройдет... Все в море будет... Станешь дома учиться. Всяко лучше, чем на чужой стороне, одной. Здесь мы все с тобой, все рядом. Вот меня жизнь по свету помотала, столько горя перед глазами прошло. В чужой-то стороне на кого обопрешься? Кто поможет? Каждый только на свой двор глядит. А осталась бы я дома в Тотье, дак и жизнь, может, счастливее бы сложилась. Среди своих-то.

– Какая чужая сторона, бабушка? Три часа на автобусе... да и время сейчас другое... —Эля шмыгала носом, размазывая сопли по подушке, – все же живут... Вон полная общага студентов... Там весело... И Люська живет же там, и ничего...

Но возражала она так уж, просто чтобы возразить хоть что-то. Гундосила свое: «Другие же...» Но прекрасно понимала, что она-то не «другие», ее-то уж теперь точно никуда не отпустят. Смирлась.

Эля смирилась

Поступила в местный пед, и все оказалось не так уж плохо.

Письма

Осень выдалась на редкость теплой. Уже середина октября, а солнце шпарит во всю. Не лето, конечно, но на месяц погода точно от календаря отстала, можно без куртки вполне обойтись. Эля после занятий в институте домой не торопится. Прогуляться по набережной с новыми подругами-однокурсницами, поболтать, посмеяться, а может, и в кафешку зайти или даже в бар гостиницы «Интурист» – по коктейлю «Карнавал» заказать или просто кофе с ликером взять. Хорошо быть студенткой. Гораздо лучше, чем школьницей.

В октябре Юрка уходил в армию.

– Ленка, пойдем пацанов проводим. Девчонки с класса собираются. Завтра утром на вокзале, – Эля только что встретила на улице одноклассницу и услышала об этом, но делает вид, что знала об этом всегда.

– Да па-а-аш... – Ленуся хотела сказать: «Да пошел он! Провожать я пойду! Пусть колбасой катится!»

Но остановилась.

Элька же не в курсе того ужаса, что она пережила. Перетерпела под боком у сестры, а та и не заметила. Не обратила внимания. Не до того ей было. Своими планами наполеоновскими занята была, по сторонам не смотрела. А теперь она, Ленуся, свободна. Больше не висит над ней дамоклов меч незваной беременности. Но Юрку она не простила. И не простит. Трус. Паскудник. Дерьмо собачье. А провожать она пойдет. Плюнет ему вслед так, что задымится: пусть, пусть катится в свою армию. Без него воздух свежее будет.

– Да, пошли проводим, посмотрим, как им лбы забреют. Солдатушки, бравы ребятушки.

Как назло, погода расклеилась. Небо распухло большими гландами, загундосил простужено ветер, повисла в воздухе мелкая сечка дождя, покрывая холодной испариной лбы домов. Может и не ходить? Но Элька не отставала: «Да ну, подумаешь, морось мелкая. Пойдем».

На платформе, в длинном холодном коридоре, образованном стеной вокзала и поездом, толпились парни, родители, друзья-приятели, девчонки. Двери вагонов были еще заперты, проводницы, видимо, прятались внутри. Под козырьком вокзала стояла кучка офицеров. Остальные отъезжающие старались держаться поодаль, с призывниками не смешиваться. Провожаящая толпа была по большей части женской: матери и девчонки. Она колготилась, закручивалась небольшими водоворотиками, выбрасывала вверх вскрики, смех, обрывки фраз: «Сынок, пиши, не забывай... ну давай, братан... ты там, это, не трусь, себя в обиду не давай... я тебя ждать буду, обещаю... вчера проводы... отец сам рюмку налил... до сих пор башка раскалывается... сушняк... в самоволку... на губу посадят... на присягу приедем... куда пошлют... вдруг в ГДР, круто... только бы не в Афган...» С дальнего угла доносились всхлипы баяна, какие ж проводы без музыки.

Сестры, сжавшись под одним зонтиком высматривали своих.

– Ленка, вон Юрка стоит. Пошли! – Эля увидела его первой, дернулась вправо.

Юрка с матерью стояли с самого дальнего края серой человеческой стаи.

– Я сейчас, ботинок развязался. Ты иди, – Ленуся присела, быстро дернув шнурок на кроссовке.

Эля подошла:

– Здравсьте.

– А, здравствуй, здравствуй... Проводить пришла? А сестричка где? – Юркина мать, тетя Галя, так и не научилась различать этих одинаковых, как магазинные куклы, девчонок, и, боясь перепутать, по имени их не называла.

– Лена сейчас подойдет, она...

Обернувшись, пошарила глазами в мокром мареве, но Ленки не было. Странно. Куда она делась со своим шнурком? Только сейчас Эля увидела, что, не смотря на всплески смеха и веселые выкрики, это была очень печальная толпа. Грустные, а то и заплаканные лица матерей – последний раз обнять своего ребенка, последний раз дотронуться до него, запомнить это касание на два года. Два года – как это много. Девчонки, жмущиеся к своим любимым. Запрокинутое мокрое лицо. Слезы? Дождь? Высокий парень, не стесняясь никого, целует, склеивает соленые капли. Вдруг вспомнилось из кино, из черно-белого фильма, такого же черно-белого, как нынешний день: «Посмотрите, как сразу постарели наши матери...»

– Писать мне будешь? – Юрка взял ее за локоть, чуть подтянул к себе.

– Конечно, и я буду, и Ленка... – она опять оглянулась.

Куда же смыло сестру? «Где она болтается? Не могла по-человечески приятеля проводить. Не приятеля, друга. Сколько лет дружим! В армию же уходит, не на курорт едет. А вдруг в Афган пошлют. А вдруг...» Дальше додумывать эту мысль Эля не смогла. Зажмурившись, она потянулась к Юрке, обняла его за шею и чмокнула в щеку:

– Я буду писать... и ждать буду... только вернись, Юрка...

«Стройсь!» – Грянуло над головами, на вокзальное крыльцо выкатился толстый, круглый дядька в фуражке и при погонах, сколько там у него звездочек – не разглядишь, а по голосу – генерал, не меньше. Толпа завертелась быстрее. Призывники отдирали, отталкивали от себя матерей и девчонок, мгновенно чужели, утягивались в новую, не понятную, не известную им самим жизнь.

И казалось, грянет сейчас над головами: «По вагонам!», и полезут солдатики в распахнутые ворота теплушек...

Ленуся стояла под кустом, унизанным гроздьями красных ягод. Куст мотался у нее перед носом, тряс своими ветками, швырял воду, осевшую на листьях, ей в лицо. Сквозь линзы капель, забивших глаза, смотрела: Юрка с мамой, Элька рядом. Стоит, говорит что-то. Вдруг кидается ему на шею, припадет лицом к щеке... Целует. Что же еще? Юрку целует. Твоего Юрку, между прочим. Твоя сестра, между прочим. Больно? Горит в груди-то? А, Ленуся? Жжет? Жжет... А чего ты спряталась-то? Не хватило храбрости подойти? Подошла бы. Гордая такая вся. Красивая и смелая. Сказала бы: «Катись колбасой!» или наоборот: «Служи Родине, мальчик». Как собаке: «Служи!» А ты за кустом присела. Струсил ты, Ленка. Струсил. Стыдобища.

Первое письмо пришло через месяц. Ленуся выдернула его из почтового ящика вместе с «Комсомолкой». Глянула – от Юрки – рефлекторно сунула конверт обратно в железное квадратное жерло. Пальцы об штаны обтерла. Будто жабу случайно прихватила. Слизкую, противную. Стояла смотрела на конвертик с казенным штампом. Надо разорвать не читая. И сжечь. И пепел развеять. Вытащила опять, в карман сунула. Письмо Юркино она не разорвала и не сожгла. Но и читать не стала. Сунула конверт в черный бумажный пакет, где лежали ее летние прошлогодние фотографии. Туда же легло и следующее Юркино письмо в нераспечатанном конверте. И следующее... Теперь этот пухлый пакетик казался ей гробиком, похоронившим ее счастье. Бывшее счастье. Бывшее. Умершее. В голове у нее крутилось одно стихотворение. Вообще-то голова ее была набита стихами, как подушка перьями. Но сейчас выскочило одно, забытое, наверное, всеми кроме нее. Лена выкопала его в городской библиотеке, в маленькой, плохо пропечатанной книжице с голубыми листами и витиеватой надписью на порванной обложке: «Цветение бумажных хризантем. Стихи Лидии Ренн. Новгород, 1916 год».

Моя Любовь так долго умирала.

Так мучилась, ночами не спала.

Я слышала, она в бреду шептала:

«Я не умру». Помочь я не смогла.

Я как сестру ее похоронила.
И на могилке выросла трава.
На бедный холмик я б не приходила,
Но Ревность бедная жива.

Пусть не красивая и злая,
Ее не прогоняю прочь.
Она мне все-таки родная.
Она Любви погибшей дочь.

Жалкие глагольные рифмы местечковой поэтессы Ленусю не смущали, в висках у нее билось: «...ревность бедная жива...» Она сознавала, что ревнует. Перед Новым годом она вытащила из ящика очередное Юркино письмо: «*Да ты не уймешься! Не надоело писать, не получая ответов?*» Но что это? На конверте возле слова «Кому» написано: «Верховцевой Эльвире». Эльке! А вовсе не ей, не Ленусе. Теперь он будет Эльке писать? Вскрыть немедленно, посмотреть, вдруг он там сестре в любви объясняется. Вот ведь гад! Но в голове сквознячком холодным: «А тебе-то что? Ты-то уже не при делах, девонька. И Юрка уже не твой. И ты сама так решила».

– Элька, тебе письмо от Юрки! – закричала Ленуся, влетев в квартиру.

Избавиться от него поскорее. А то горит в руках. Еще немного – не удержишься, откроешь.

– Да ты что? – сестра явно обрадовалась, – давай его скорее сюда.

– Потанцуй! Потанцуй! – Запрыгала Ленка, вытянув руку с письмом над головой. – Догони и отними, – она помчалась вокруг стола, занимавшего середину бабушкиной комнаты. «*Давай, догоняй, сестричка. А я письмо разорву и под ноги тебе мятые клочки брошу. Ползай, собирай*», — злыми пульсиками билась кровь в виски.

– Ленуся, ну отдай! Вот я пляшу уже, – Эля мчалась за сестрой, на ходу притоптывая и поводя руками, изображая подобие танца.

Ленуся резко остановилась, бросила конверт на стол:

– Забирай!

Она не спросила, что он написал ей, а Эля не сказала. Не потому что там было что-то такое... Просто она думала, что то же самое Юрка писал и Ленке. Про учебку, про дедов и утренние издевательства, про «упал-отжался». Про солдатские будни, короче.

Но теперь Ленуся вытягивала из почтового ящика, как из проруби, разных рыб. Юрка по очереди писал им обеим. И каждый раз, отдавая сестре письмо, каждый раз, засовывая нераспечатанный конверт в черное нутро бумажного «гробика», она чувствовала, что ревнует. И ей уже казалось, что может быть она зря разорвала их отношения. Конечно, он испугался. Испугался так же, как и она сама. Мальчишка, школьник, что с него возьмешь. Но ведь, проехали. Все живы, здоровы, все хорошо, мир не рухнул. А она оттолкнула его. Отвернулась. А он, может быть любит ее до сих пор. Может, прощенья просил, каялся, там – в этих непрочитанных письмах. А она... Ты, ведь, любишь его, Ленуся? Юрку своего любишь и сейчас? Сейчас даже больше, пожалуй. Ревность подпитывает.

– Слушай, а тебе Юрка что пишет? – Эля как-то все-таки спросила.

– Разное, – Ленуся замешкалась, брякнула наугад – про присягу... То же, что и тебе.

– Ну да...

Теперь Эля уверилась, что приятель пишет им действительно одинаковые письма. Про одни и те же события. Да и где взять разных для двух адресатов?

Но постепенно в Юркиных письмах стало проскальзывать и другое: скучаю... пришли мне свою фотографию... помню, как прощались у военкомата... жду встречи... очень хочу увидеть. И однажды в конце письма появилось: «целую». И Эля заметалась: это только ей или Ленусе тоже? И как узнать? И как отвечать ему? Она вдруг осознала, что хочет, очень хочет, пожалуй, больше всего на свете хочет, чтобы такие слова Юрка писал только ей. Ни Ленке, никому другому. Ей одной. Она поймала себя на том, что не просто ждет следующего письма, а считает дни: вот неделя прошла с Ленкиного письма, значит, уже скоро и ей придет. Еще два дня миновало – наверное, завтра. Сегодня! Сегодня, наверняка. Нет? Ну тогда завтра. Завтра – точно. И сама она начала потихоньку раскрепощаться в своих ответах. От перечисления городских новостей, событий в жизни их одноклассников или других знакомых перешла к своим чувствам. И если по началу все больше писала «мы»: мы ждем... мы надеемся, что приедешь в отпуск (есть в армии отпуска?) ... мы встретимся..., и была это, скорее, попытка подбодрить товарища, то теперь в письмах осталось только «я», и была там одна Эля, без своей сестры. Писала, что тоже ждет и мечтает о встрече. И была в этих словах совсем иная окраска: лирическая, нежная, близко-близко стоящая рядом с любовью.

Два года для Эли пролетели быстро. Лекции, семинары, сессии, студенческие капустники, дискотеки. И Юркины письма. Она хранила их в жестяной коробке из-под датского печенья, синей с красными рождественскими звездами, оленями и Санта Клаусом. Печенье где-то достала мать, было оно не особо вкусным, самые запростящие круглые печенюшки, обсыпанные сахаром, а вот коробка была очень хороша, и Эля утащила ее к себе. Спрятала у задней стенки в письменном столе, завалив сверху уже не нужными тетрадками.

А для Ленуси те же два года тянулись длинной серой резиной. Свое медучилище она выносила с трудом. Все эти орнитозы-зоонозы, гипсовые повязки, виды переломов и субфебрильная лихорадка вгоняли ее в тоску, казались ей аморфными бесцветными пузырями, вяло шевелящими вытянутыми в ее сторону ложноножками. Скука, скука... Похожая на разваренную в супе, разлезлую луковицу. Спасалась она книжками. Мир, в котором крутились Сирано де Бержерак, капитан Блад, Эсмеральда, мушкетеры и гвардейцы, виконты и аббаты, мир, запрятанный под подушку, был гораздо интереснее того, в который надо было каждый день выходить из дома.

Она перелопачивала сотни страниц, полных любви: счастливой, роковой, безответной, приносящей героям бесконечные страдания, ведущей к свету и погружающей в черную пучину зла. Она примеряла на себя каждую: победоносно покоряла, умирала от горя, тонула в ненасытной страсти, тихо и покорно ждала. И кем бы она себя не представляла, всегда напротив нее был Юрка. Это его покоряла, из-за него умирала, его ждала. Понимала, что правильно не стала ему отвечать. Вот он приедет, и они поговорят. Глядя друг другу в глаза. Все объяснят друг другу. Простят друг друга. И будут жить дальше. Надо только дождаться его возвращения. Дождалась.

– Юрка... Здравствуй, Юрка, – Ленуся выскочила на дверной звонок, а там он.

Заматерел. Уходил в армию пацаном. Длинный, тощий. А сейчас – мужик, вон, даже щетина на щеках. Специально что ли не сбрил? Она даже как-то захолонула, застыла. Вроде бы тот же самый Юрка, а в то же время совсем незнакомый человек. Надо бы поговорить... Она так долго этого ждала. Объясниться... Но не здесь же, не в дверях. А дома мать и бабушка – не пообщаешься толком. Сейчас она оденется, и они выйдут на улицу. Может быть в парк? Сколько раз они там гуляли! Пойдут под кленами, по усыпанном рыжевьем листьев дорожке. И она скажет ему, что ждала, что простила, что надо жить дальше, что детские обидки остались в прошлом... А он скажет, что вернулся к ней навсегда. Скажет самое главное. Что любит ее.

– Привет. Эля дома?

– Эля? Нет. Она в институте еще.

– А... Придет скоро?

– Не знаю. Через час может... Юрка, погоди, я... Мне надо... Я хотела...

– Ладно, я пошел. Скажи ей, я заходил.

Он развернулся. Стал спускаться, прыгая через ступеньку. Он всегда так спускался по лестнице. Ленуся метнулась в прихожую, схватила куртку, выскочила на площадку:

– Юрка, подожди!

Внизу лязгнула дверь.

Надо бежать за ним. Догнать. Объяснить.

Надо?

Не надо. Бесполезно. Поздно.

Она вернулась в квартиру.

– Кто приходил, Ленуся?

– Никто, бабуль, Тетя Зина в магазин собралась, спросила, не надо ли нам чего. Я сказала, не надо.

Она вытащила из тумбочки пухлый черный конверт, сунула в сумку. Зачем? Решила прочитать Юркины письма. Вон их сколько за два года накопилось. Ровно двадцать. Двадцать конвертов, гладеньких, не раскрытых. Надо прочитать. Но не дома. Дома не дадут. Обязательно кто-нибудь дернет, сунет нос: «Что там у тебя?» Надо уйти куда-нибудь.

Она пошла парком в сторону реки. Тут на пригорке под рыжими кленами были развалины каруселей. Когда-то давно Люська приводила их, маленьких, сюда, катала в больших круглых чашках, красных или синих, с белыми горохами по бортам. Потом, став старше, они с сестрой лихо крутились на «Ромашке», взлетая высоко-высоко, над кремлем, над рекой, над танцплощадкой на взгорке. Уже много лет карусели стояли брошенными. Что-то демонтировали, что-то раскурочили. И теперь из дырявых деревянных площадок торчали неопознаваемые ржавые железяки, закрученные кренделями трубы. Только пара качелей-«лодочек» уцелела. И на них даже можно было раскачаться, если тебе нравится режущий уши железный визг давно не смазанных подшипников.

Ленуся забралась в «лодочку», стряхнув пару кленовых ладошек, уселась на единственную уцелевшую доску. Сумка на колени. Вот они, конвертики не тронутые. Аккуратной стопочкой в руке. По порядку, как приходили. Самое первое внизу, самое последнее сверху. С первого и начнем. Она разрывала конверты. Читала, пробегая глазами строчки. Слеза капнула из уголка, пробежала по щеке. Ленуся не заметила. Потом слез стало больше, они мешали читать, строчки начали прыгать и расплываться. Она смахнула влагу тыльной стороной ладошки, шмыгнула носом.

Юрка каялся. За трусость свою не мужскую. Прощенья не просил. Считал, такое не прощают. Просил только прочитать письмо. Чтобы поняла: он признает свою вину. Второе письмо начиналось: «Я знаю, что не хочешь отвечать мне, и ты абсолютно права, Ленка, но я буду писать тебе, я буду говорить с тобой, я буду кричать тебе. И ты услышишь».

Она не услышала.

Он писал: «Я люблю тебя... Я хочу быть с тобой... Я приму любую кару, что ты мне назначишь... Только заметь, что я рядом».

Она не заметила.

Он кричал: «Ленка, ответь... Хоть одно слово... Дай мне надежду».

Она не дала.

Письма становились короче. Иссекали. Таяла надежда. Утихала боль.

В тринадцатом конверте лежал листок только с одной фразой: «Какой-то древний китаец сказал, что послать в письме пустой лист, значит, признать правоту того, кому пишешь».

В четырнадцатом конверте лежал пустой лист, вырванный из середины тетрадки в клетку. И в пятнадцатом... Погоди, что такое? Лена лихорадочно разрывала конверты – чистые тет-

радные листы ложились ей на колени. Семь листов... Семь писем... Семь месяцев... Больше полугода пустоты. А она-то, дура, копила эту пустоту, стопочкой складывала.

«Дура, дура! Идиотка! Вот тебе пустота! Живи теперь в ней! Хоть словечко бы ему написала! Хоть козлом бы обозвала! Выплеснула бы злость! А ты молчала. Домолчалась. Так тебе и надо».

«Пу-у-с-с-сто-о-о», – отзывался ветер, раздвигал ветки, высовывался из разлохмаченной рыжей гривы кленов, подглядывал сверху.

Она порылась в сумке, вытащила косметичку, а из нее – полупустую пачку Стюардессы и зажигалку. Давно уже покуривала с девчонками в училище, только от матери прятала улики поглубже, подальше. Бог не дай, учует, такое устроит, мало не покажется. Пощелкала зажигалкой, огонек вспыхивал и тут же гас, и здесь почти пусто. Кинула обратно в сумку. И письма туда же. Комком, как попало, сминая, засовывала, будто спешила куда-то. Побежала на берег. Там, она знала, недалеко от пристани было кострище, собирались вечерами, сидели, жгли палки, ветки, гитара, пиво помаленьку. Менты не гоняли. Если не бузить. Присела на корточки, вытряхнула на подмокшую, блестящую вороновым крылом, золу смятые бумажки, конверты. Хотела ссыпать туда же и фотографии. Но нет – в пакет их. Пусть остаются. Щелкнула зажигалочкой: *«Ну давай, давай, не тяни...»*, уголок тетрадного листа загорелся. Хорошо. Теперь без спешки, чтоб не потух, и следующий добавим. И вот эту деревяху, что рядом валяется, тоже сюда, в огонь. Гори, разгорайся.

Огонь набирался сил. Костерок чувствовал себя все более уверенно. Принялась и деревяшка, гладкая, облизанная рекой ветка. Ленуся сидела на камне, смотрела, как чернеют в пламени конверты и листы. Теперь уже нельзя понять, есть ли на них слова, призывы, мольбы или они пусты и немые. Сквозь поднимающийся дым должна Ленуся видеть реку, всю залитую золотом холодного вечеряющего солнца, небо, безмятежное, безоблачное, с легкой прозеленью из-за этого сусального блеска. Но видела почему-то крыльцо своей школы. Они с Элей, взявшись за руки поднимаются, а наверху стоит Юрка – новенькая школьная форма на вырост, белобрысая ровная челочка из-под синей кепки со смешным помпончиком: «Вы, куклы, куда, в первый Б?» Три ступеньки крыльца все никак не могут кончиться, и они поднимаются, крепко сжав ладошки. А Юрка все так же стоит высоко-высоко – пацан-подросток, тощий, чуть сутулившийся – парень, широкоплечий, с легким облачком щетины на щеках: «Вы куда?»

«Мы к тебе, Юрка!»

Элькина свадьба

– А мне платье нравится. Ну и что, что не совсем белое. Это чайная роза. Нет, мама. Другого не хочу, – Эля вертелась перед трюмо в свадебном платье, – и ничего не ношеное, Люся же в нем замуж не выходила. Да если б и выходила... Вон у нас две свадьбы на курсе в этом году были, так девочки платья покупали: одна – с рук, вторая – в комиссионке. Финские.

– Дак то финские, импортные. А это – Люськина самоделка студенческая. И широковато оно тебе.

Было даже неловко, что это мать так пренебрежительно: «самоделка». Будто отсекает все, что от старшей дочери идет. Платье шикарное. Весь корсаж в кружевах, да не гипюровых, как на комбинашке, а настоящих, на коклюшках вязаных. Бабушка ладонью провела. «Наше, – говорит, – кружево, вологодское, мама моя так умела. У нее много было всякого. Да только ничего не осталось, все прахом пошло». Хорошо, хоть сестра не слышит. Приехала, платье привезла и сразу ускакала. Сказала, в Тотьму поедет, в бабушкин город родной. Чего ее туда тянет?

Эля тряхнула, отросшими до плеч волосами:

– Ерунда. Люся подошьет.

– Давай, Эля, все-таки в магазин зайдем, посмотрим. И фату еще надо купить. И туфли.

И они пошли в Салон для новобрачных, расположенный в том же, что и ЗАГС, сером доме с огромными витринными окнами, полными безголовых пластиковых невест в гипюре и тюле. Рядом совсем, через дорогу от их дома. Здесь Эля переодевалась уже в третий раз, а мама неустанно подавала ей одно платье за другим: с рукавами и без, с широкими шуршащими юбками, похожими на торты во взбитом белковом креме. Ленка помогала застегивать какие-то едва уловимые пальцами крючки.

– Ну смотри, как хорошо, – мать воткнула Эле в голову длинную фату.

Эле не нравилось. Она была похожа на большую белую кучу, на снежную бабу. Такой она видела себя в зеркале примерочной кабинки.

– Ленка, ну как?

Ленуся закинула длинный полупрозрачный хвост на Элино лицо:

– Как в садике. Помнишь за беседкой в свадьбу играли? Ты невестой была – фата из накидухи на подушку, резинкой от трусов в пучок связана. Кто замуж выходит? Ты или мама? И платье было отвергнуто вместе с фатой.

– Нет, я в Люсином пойду. И на голову только цветочки на заколках, вот эти. Паранджу не одену.

Ничего, кроме пары заколок не купили. Туфли были только скороходовские, страшные, жесткие, каблучина высоченный. Еще наверненься с такого посреди ЗАГСА, то-то смеху будет. Свадьба была назначена на август. Еще почти два месяца впереди. Успеется.

Эля думала, как они с Юркой будут жить после свадьбы. Перспектива получалась не совсем радужная. И по деньгам, и по жилплощади. Лучше всего отдельно жить, кто бы спорил. Да на какие шиши квартиру снимешь? У нее стипендия, у Юрки зарплата – хрен да маленько. Он свой кулек закончил, мать его на завод на свой пристроила. В отдел кадров – бумажки пере-кладывать. Поулыбалась, поюлила, очередной зонтик из сундука вытащила, всучила кому пола-гается. Все-таки зять будущий. А с его специальностью только кружок в доме пионеров вести можно, резьбы по дереву. Не солидно. А так, считай, управленец, какое-никакое, а начальство. Юркина мать рублей двести, ну двести двадцать получает. Эля не знает, но предполагает. Да у нее просить неудобно как-то. Отец их столько же зарабатывает. Больше всех нынче мать полу-чает. Она Юрку-то на завод за руку привела, а сама вскорости ушла. В кооператив устроилась на кирпичный завод складом заведовать. Там ей сходу отвалили четыре сотни. Вообще, могли

бы скинуться деткам на индивидуальную клетку. Вон как Эля наловчилась деньги по чужим карманам считать. Стыдно-то как!

Но мать сотню в месяц на съём квартиры не выделит. Только Эля заикнулась, сразу сказала: «Еще чего, деньги чужим людям отдавать. У нас две комнаты. Мы с Ленкой к бабушке в комнату, а тут вы с Юркой. Мы с отцом прожили, и вам хватит места». Прожили они! Сколько Эля себя помнила, папа всегда в прихожей на тахте жил. Сам по себе. А они с Ленкой на другой тахте в маминной комнате. А Люська – на диване в бабушкиной. Но можно, можно было бы им с Юркой мамину комнату занять. Эля была не против. Но Юрка уперся. Ни в какую. «У нас будем жить» – и все. Почему, не объяснил.

Там и свадьбу гуляли, в Юркиной однокомнатной квартире. Да народу-то было: раз два и обчелся, по-семейному. Свои да пара Юркиных приятелей со двора: длинный Женька, он за фотографии отвечал, решили фотографа от ЗАГСА не заказывать, мать сказала, что дорого слишком, да Стаська, толстый, круглый, но вертлявый как юла, его свидетелем выставили, и еще он гитару приволок, магнитофон для танцев, а вот попеть за столом – это святое. Свидетельницей со стороны невесты Люся была. Эля Ленку просила, но та чего-то не захотела, отвертелась. Она в Загсе сзади всех уселась, то ли спряталась, то ли смотреть не хотела. Зато потом, когда уже до стола добрались, отрывалась. Каждые пять минут орет: «Горько, горько!», и шампанского бокал тянет. Прямо не унять. Ну и так с этого шампанского наклюкалась, что потом в туалете блевала. Все песни под гитару тянут, а она из сортира аккомпанирует звуками не благодными.

Но если Ленкиного фиаско не считать, то свадьба удалась, Эля была довольна. Вот они с Юркой стоят посредине белого зала. Красивые такие. Эля вся, как роза чайная, в кружевах, Юрка в югославском светлом костюме, такого теплого соломенного цвета. Такой в Салоне не купишь, и в универмаге тоже. Мать пошуршала где-то по знакомым, притащила два костюма. Второй серо-синий, вообще итальянский, маловат оказался. У Юрки запястья из рукавов торчали. И как-то все неправильно в нем было.

– Ты, Юрка в нем на сантехника похож. На итальянского. Это, наверное, специально для них шьют.

Юрка скинул пиджак, натянул другой костюм:

– А в этом я на кого похож? На югославского почтальона?

Эля запрыгала вокруг, повисла у него на шее, потерлась носом о щеку:

– В этом ты замечательно-прекрасный красавец! И похож на моего мужа!

Она примеряла эти жужжащие, какие-то пчелиные, чужие слова: «муж-ж-ж», «ж-ж-жена». Надо привыкать. Но как же некрасиво звучит! А еще свистящее по-змеиному «С-с-емья-я-я» и вот это, вообще ужасное: «супруга». Как подруга! Так и слышишь: «впряглась». Да не важно! Не про них с Юркой. Они уже два года вместе. Душа

в душу. И дальше так будет, только лучше. Скоро, скоро свадьба: кольца золотые, цветы, подарки, радость и слезы.

Гости позади на стульях расселись. Мама, бабушка, папа, Ленка с Люськой. Все свои здесь. Все радуются за тебя, Эля. Все? Конечно, все. А как иначе? Вон бабушка платочком глаза промокает. Мама сияет, будто свадьба – ее личная заслуга. Папа строгий, тоже в костюме, сидит рядом с Люсей. С другой стороны – Юркина мать. Тоже слезу подпустила. Все серьезные такие. Только эти двое, Женька со Стаськой, веселятся. Хихикают, шуточками давятся. Эля не слышит, что они там бормочут, но чувствует, по ним прохаживаются, по дружку своему старинному, да по невесте его. Ленка у них за спинами пристроилась, тоже подхихикивает придавленно, ее смех, не оборачиваясь узнать можно. Ну да пусть их. Они же не со зла. Просто привыкли друг над другом подшучивать.

Вот тетка-регистраторша, опустив на лицо, как забрало, рабочую улыбку, заговорила, заклохоталась, забулькала пугатым самоваром, затянутым в зеленое крокодилье платье. В руках

она сжимала, как стилет, длинную указку. Эля от волнения не понимала ни слова. Юрка подтолкнул ее локтем. Что? А, надо расписаться. Где? Зрение расфокусировалось. Куда подпись-то ставить? Тетка, не сгибаясь, ловко ткнула указкой. Здесь? Эля расписалась. Потом Юрка, потом свидетели. Кольца. Не уронить бы... Все, обменялись. Эля смотрела на свой окольцованный палец: *«Теперь я – жена»*. Тетка опять завохтала. Потом замолкла, пауза повисла. Эля подняла глаза. Пауза плавала в воздухе. Плыла, колыхаясь, крокодилья улыбка регистраторши. Юркин взгляд светился. Почему тетка на нее смотрит? И Юрка? Что?

– Родные, можете поздравить новобрачных, – наконец замкнула тишину тетка.

Только когда все стали подходить, обнимать, совать им в руки цветы и конверты, Эля поняла, что пропустила поцелуй. Вот что булькала крокодилица! Вот почему Юрка уставился на нее! Регистраторша дежурно разрешила им поцеловаться, а Эля не услышала, стояла столбом. *«Пропустила, пропустила, глухая тетеря... Ну и ладно. Сейчас наверстаю»*, – И Эля, сунув ворох разномастных цветов в чьи-то руки, притянула к себе Юркину голову:

– Поцелуй меня!

Потом пили шампанское в специально отведенной для этого комнате, где стоял красивый старинный стол с хрустальными фужерами, а стульев не полагалось. И они подняли бокалы, стоя, под первое «Горько» и без закуски.

Белая «Волга» с кольцами и куклой на капоте, входившая в комплект платных услуг ЗАГСА, увезла их и свидетелей. Остальные потопали накрывать на стол. Накатавшись, разложив все букеты у Вечного огня, танка, памятников тем и другим, нафотографировавшись везде и повсюду, они, наконец, подъехали к Юркиному дому. Здесь у подъезда, вездесущие бабки швырнули в них по пригоршне пшена, попытались «украсть» невесту и получили в ответ бутылку дешевого вина и кулек конфет «Буревестник».

Где-то около десяти вечера, когда все было съедено, выпито, отплясано и отпето, Элины родные отправились восвояси, приятели сгинули во дворе, а Юркина мать пошла ночевать к соседке. Эля, наконец, осталась со своим Юркой наедине. Она мандражила: как ЭТО будет происходить? Да, два года они были вместе. Да, она давно уже считала, что Юрка – ее жених. На танцы на «Пятак» с ним бегала, в кино на последнем ряду обжималась, в подъезде целовалась до одури. И руки ему позволяла распускать. Слегка. И только руки. Дальше этого дело не шло. Как-то она ухитрялась избегать ситуаций, когда можно было перейти дальше. Домой к нему не ходила днем, пока его мать на работе. А к ним домой он сам почему-то особо не стремился. Но у них всегда кто-нибудь дома, бабушка или Лена, или мать. Так и дотянула до свадьбы.

И вот сейчас не знала, не представляла, что ей делать. Раздеваться? Идти в душ? Или это после? И Юркина квартира, которую она знала от и до, в которой провела кучу времени с самого детства, вдруг стала чужой и враждебной. Вздрыгнул медведем диванчик, на котором когда-то смотрели диафильмы. Угрюмо воззрился шкаф с книгами, а ведь вон, прямо за стеклом маячит «макулатурный» Сабатини, которого они Юрке в шестом классе подарили. И тахта, та самая, которой предстояло стать их брачным ложем, новенькая, купленная в «Мебельном» всего месяц назад, холодно косилась в ее сторону: «Ну, я-то готова. А ты? Ты готова?» В голове шумело. От шампанского? От страха?

Юрка, раскрасневшийся от выпитого, стянул через голову полурасстегнутую рубашку, плюхнулся задом на тахту. «О-о-о!» – отозвалась та, потише, мол, поаккуратнее, пружины пожалейте.

– Иди ко мне, – потянул Элю за подол, – Элюня моя...

Затрещала ткань. *«Платье, платье порвет... Люська убьет... Просила же...»* Юркины пальцы нетерпеливо теребили кружево, трепали бутон чайной розы, выискивая в нем Элино тело. *«Да черт с ним, пусть рвет...»* Больше о платье она не думала.

«Хорошо, что я вчера так нажралась... Хорошо, что сейчас мне плохо... Блин, плохо-то как... Глаза не разлепить... Как бы встать?» – Ленуся ворочалась под пудовым одеялом, выкарабкиваясь из жаркого его плена, из мутной тяжести похмелья. Она радовалась: можно мучиться тошнотой, головной болью, жаждой, можно не думать про Эльку, про Юрку, про то, что они там... За два минувших года она слишком часто представляла себе это. Вспоминала, как они с Юркой... На стареньком его диванчике, у которого давно не поднималась спинка... Как летели на пол второпях скинутые шмотки... Как нависало над ней его лицо... Она словно смотрела со стороны. Словно стояла, прижавшись спиной к книжному шкафу. Видела перед собой два тела, сплетенных в любовном экстазе. Одно мужское: загорелая спина с крупной родинкой под левой лопаткой, растрепанные, вечно не стриженные, светлые волосы, напряженные мускулы рук, сжимавших... Сжимавших девичье тело: маленькие, разведенные в стороны грудки, похожие на спелые груши, впадинка пупка на белом животе. Темные волосы падают на щеку, она смахивает их ладошкой, черные глаза кажутся огромными омутами. Это ее, Ленкино, лицо. Нет? Нет! Это Элька. Элька на диванчике с Юркой. А она, Ленуся, в стороне.

Интересно, для Юрки есть разница между ними? Там, в постели. Или для него это одно и то же тело: груди, живот, курчавый кустик, на краю теснины, куда он так стремится. Ей представлялась совсем уж фантастическая картина. Вот Юрка открывает стенной шкаф в прихожей, достает оттуда большую голую куклу. Это она, Ленка. Ее тело, ее лицо. Кукла безвольно провисает в его руках. Юрка смотрит на нее, поворачивает так и этак. Потом качает головой, видимо, что-то ему не нравится. Он кладет куклу на диван. Она безвольно и мертво лежит, неподвижный галчиный взгляд уставлен в потолок. Юрка роется в шкафу, вытаскивает куб картонной коробки. Он отвинчивает кукле голову. И на освободившуюся шею прикручивает новую, вытащенную из коробки. Точно такую же: с темным хвостиком волос, вздернутым носом с десятком почти незаметных веснушек, круглыми птичьими глазами. Старую голову он прячет в коробку. Нажимает неприметную кнопчку у куклы подмышкой, и она оживает – садится, отводит со щеки выбившуюся прядь, улыбается. Теперь это Элька.

Эти два года она надеялась... Да не ври ты, Ленка! Хоть себе-то не ври. Нам, автору, не ври. Мы все про тебя знаем. Про эти два года знаем. Надеялась она! Гуляла ты напропалую. Даже дома не ночевала иной раз. Позвонишь, матери скажешь: «Я у подружки, у Таньки Смирновой, переночую», и понеслась душа в рай. Танька Смирнова, с которой ты в училище ходила – удобная покрывашка. У нее родители глухонемые, никогда телефон не берут. Если вдруг мать перезвонит: «Танюша, дай трубочку Лене...», Танька скажет, что ты в сортире, в душе, в магазин выскочила, типа, чай (хлеб, кефир) кончился, или спишь уже. Вы так договорились. Да мать и не перезвонила ни разу. Танька в интуристовской гостинице, в баре вечерами ошивалась, плющишила, на киношное счастье надеялась. Интердевочка провинциальная. Ну и так, для поддержания штанов, лишних денег не бывает. Ленусю на это не хватило. Стремно слишком. Весь город знать будет. Но в бар этот тоже захаживала. С очередным своим парнем.

Сколько их было у тебя, Ленуся, за эти два года? Шесть? Восемь? А как ты к Люське в Ленинград на выходные рванула, да не доехала? Прямо в поезде с каким-то студентом познакомилась и с ним два дня в общежитской койке прокувыркалась. Ты даже, как его звали, не вспомнишь.

В тот раз тебе еще бабушка наказ давала: «К Люсе приедешь, напомни ей, чтоб икону у меня забрала». Ты лоб нахмурила: «Какую икону, ба?» Сроду никаких икон в доме не водилось. Бабушка в сервант полезла, вытащила старую доску. Безвидную. Не поймешь, что на ней и нарисовано. Вроде святой какой-то чумазый. Нависает над городом с белыми колоколенками. Ну не белыми, конечно. Подразумевается, что белыми. А так, скорее, желтушными, болезненными. У святого ладонь отчекрыжена – кусок доски, видать топором оттяпали. А задняя сторона зеленью купоросной замазана. Не икона – мусор, на твой взгляд. Чего ее хранить? А Люське она зачем? Бабушка сказала, что обещалась ей отдать. Что история какая-то с этим

святым связана. Семейная. Но ты слушать не стала. Когда вернулась, бабушка сразу спросила: «Напомнила сестре? Заберет она?» И ты, ничтоже сумняшася, соврала: «Да, бабуль, напомнила. Заберет. Как придет, так и заберет».

Сейчас, высвобождаясь из плена похмелья, едва слыша сквозь вату в голове укоризненный голос матери, бродя по квартире – на кухню воды попить, прямо из-под крана, чайник пустой, в туалет, в очередной раз вывернуть пустой желудок, сворачивающийся кольцами удава, в душ, горячую струю на затылок, приглушить бьющий изнутри молот – Ленка чувствовала, что одновременно счищает, сдирает с себя коросту этих двух лет. Этих парней, их руки, губы, потные, напрягшиеся тела, эти необязательные, не ведущие никуда связи – кино, бар, постель. Не то, не то! Не любовь! Всю эту муть, в которой пыталась утопить свою главную потерю. Теперь не нужно ничего. Точка поставлена. Обратной дороги нет. Ни для Юрки. Ни для нее. Алес! Капут!

Игра в семью

Первые две недели семейной жизни были прекрасны. Уже на следующий день Юркина мать укатила в санаторий. Заранее было запланировано, само собой. «Уезжаю в свадебное путешествие», – посмеивалась она, собирая чемодан. Эля с Юркой проводили ее на электричку и вернулись домой к своему новому счастью. Они шли по бульвару под липами, уже обсиженными стаями галок. Никуда не собиравшиеся улетать на зиму птицы, тем не менее, следуя вечному зову предков, собирались на верхушках деревьев, галдели, перекрикивая друг друга. Может быть выбирали командиров, а может обсуждали последние новости. Потом вдруг срывались в небо грозowymi тучами, носились в синеве нечеткими шаровидными НЛО, собранными из черных оглушительных корпускулов. Осень скоро. Скоро тебе, Эля, в институт. Последний выпускной курс. А там и настоящая взрослая жизнь. Навсегда. Взрослая семейная жизнь. Как у всех.

Сейчас Эля играла в семью. Так же играли они с сестрой в «дочки-матери» во дворе: ходили «на работу» и «в магазин», готовили обед из пучка травы и воды из лужи, «накрывали на стол» на лавочке возле песочницы. Теперь Юрка ходил на работу, а Эля в магазин, пыталась приготовить что-то к его приходу. Вот тут-то и сказалось ее полное неумение в кухонном искусстве. Бабушка до сих пор особо не подпускала внучек к плите, обед всегда был готов к приходу Эли из института. И единственное блюдо, приготовлением которого она овладела, была вареная картошка: почистить, положить в кастрюлю с водой, как закипит – посолить, как сварится – слить воду. Не велико умение.

Обнаружив в старой «Работнице» рецепт борща, решила блеснуть. Побежала в магазин за суповым набором. В Кооператоре купила кость мозговую. Роскошество. Нормального мяса, как всегда, не было. Но главное, бульон получится, что надо, наваристый с плавающими на поверхности солнечными кружочками жира. Дальше действовала строго по рецепту. Варила сколько полагается, процеживала бульон, резала овощи, как сказано – картошку кубиками, а морковь кружочками. Даже поджарила лук с томатной пастой, точно следуя указаниям. Чтобы не пропустить момент, когда борщ окончательно сварится, завела будильник. И в ожидании финала завалилась на тахту читать «Один день Ивана Денисовича», полученный тоже на один день.

Когда будильник зазвонил, Эля взяла кухонное полотенце и, подхватив кастрюлю за ручки, наклонилась над раковиной и начала сливать. Глядя, как в эмалированное дно раковины бьет из-под сдвинутой набекрень крышки исходящая паром струя наваристого борща (Не воды, девонька! Борща! Твоего первого борща!) она впала в ступор, и стояла, пока последняя бордовая капля не канула в черную дыру водостока.

Блюдо, поданное вернувшемуся с работы мужу, она обозвала «овощное рагу».

– А чего рагу со свеклой? Никогда такого не видел, – удивился он.

– А что не надо было свеклу? Бабушка всегда так делает. По-моему, вкусно.

– Вкусно. На борщ похоже. Только без жижи.

Эля облегченно вздохнула – пронесло.

Но две недели Элиного хозяйствования просвистели мгновенно. Вернулась из санаторных краев Юркина мама. И надо было как-то пристраиваться друг к другу в маленькой однокомнатной квартирке. Эля считала, что самый большой вопрос – как ей называть свою свекровь. Обращаться к ней «мама», – слишком искусственно, Эля не сирота, у нее своя мать есть. Звать, как в детстве, «тетей Галей» – смешно, Эля ведь не в гости к другу-приятелю на часок забежала. «Галиной Дмитриевной» – длинно, высокопарно и казенно, как на работе. Но оказалось, что это и вовсе не вопрос.

– Зови меня Галей, – отбросив «тетю», предложила свекровь.

Эля радостно согласилась: *«Правда, мы обе – взрослые женщины, теперь члены одной семьи, родственницы, как еще звать друг друга, если не по имени. Чего я маялась ерундой».*

А вот другие вопросы разрешались гораздо труднее. Пришлось превращать однокомнатную квартиру в двух-, если не комнатную, то хотя бы в двухспальную (или правильнее сказать «двухспальневую»?) Не могут же они вдвоем спать в одной комнате с расстоянием один метр между кроватями. Слава богу, не в средневековой деревне живут, не в бараке и не в казарме. Хорошо, что кухня большая, целых шесть с половиной метров. Если отсюда перетащить в комнату пенал с посудой – в угол у двери поставить, а для этого книжный шкаф на двадцать сантиметров влево толкнуть – передвинуть кухонный стол чуть ближе к плите, а тумбочку, вот эту, из досок сколоченную, в прихожую – нет выбросить ее нельзя, она для картошки, в нее двадцать кило влезает, три ведра, лучше осенью закупить, пока не гнилая – то Галин диван почти входит на освобожденную территорию – подлокотник один снять, тогда точно влезет. Мебельные пертурбации заняли субботу и воскресенье. А чего бы вы хотели? Это на бумаге карандашиком план передислокации рисовать быстро. А вытащить все книги из шкафа, чтоб его передвинуть? А протереть каждую влажной тряпкой от пыли, раз уж все равно вытащили? Посуду из пенала и обратно потом? Картофельную тумбочку опять же вымыть изнутри, пользуясь случаем? И пол повсюду на вновь отвоеванных у квартиры местах. Это уж, само собой. Так что не скоро дело делается.

Зато теперь можно спокойно присесть у стола, выпить чайку с «Мишками на севере» и начинать настоящую семейную жизнь. На троих.

Мы не будем особо размазывать. Большая половина женского населения нашей страны именно так в семейную жизнь и стартовала. В малометражах, скученности, с вновь обретенными родственниками. Тема тривиальная. Чего и распространяться. Все так жили. И полагали, что так и должно быть. Кооператив к свадьбе – это далеко не для всех. Некоторые так и проживали всю свою жизнь большим семейным хутором на сорока пяти квадратных метрах, с мужниными или наоборот жениными родителями, подрастающими золовками или деверями, которые в свою очередь тоже приводили сюда свои половинки, с детьми и племянниками. И полученная когда-то отцом семейства двушка или даже трешка лет через двадцать превращалась в семейную коммуналку, в которой коротало свой век уже второе и третье поколение. Заставленная шкафами, тумбочками, антресолями, с кладовкой, где в фибровых чемоданах копились рисунки давно повзрослевших детей, распашонки и ползунки, засохшая лыжная мазь и пожелтевшие газетные вырезки, с балконом, ставшим пристанищем старых санок, бака для кипячения белья и велосипеда «Орленок» без цепи и одной педали, эта когда-то новенькая, просторная и светлая квартира теперь представляла собой пыльную пещеру Алладина, все сокровища которой злой и насмешливый джинн превратил в хлам. И строго-настрого запретил выкидывать.

Эля не заметила, как, в какой момент ее счастливая семейная жизнь превратилась в перманентный кошмар. А все Галя. Ее свекровь была очень хорошим человеком. Добрым, внимательным, заботливым. Галина заботливость сводила с ума. Эле казалось, что она бултыхается в сладкой розовой пене. В сахарной вате. Чем больше она трепыхается, тем глубже увязает.

– Элочка, ты выпалась? Вы вчера долго возились, – встречала она свою невестку утром на кухне с накрытым полотенцем чайником, нарезанным батоном и неизменно-сладкой улыбкой.

«М-м», – невнятно мычала Эля в ответ. «Возились»... Что она имела в виду? Они и так старались потихоньку. Она бы еще «кузюкались» сказала.

– Мне показалось, ты ночью ходила в туалет. Что-то случилось? Ты себя хорошо чувствуешь, Элочка?

Объяснить Гале зачем она ходила в санузел? О, Господи! И это «Элечка»! Это, пожалуй, раздражало больше всего. Нельзя что ли просто «Эля»? Так и хотелось выдать в ответ: «Галочка».

Свекровь старалась во всю. Приходя с работы, сразу облачалась в полосатый фартук и, вытащив из торбы ежевечернюю порцию продуктов, принималась хлопотать. И щебетать: «Недорогих курочек выбросили в гастрономе, я в обед сбегала. Сейчас бульончик сварим. С вермишелькой. Правда? И котлетки сделаем. Фаршик в «Кооператоре» взяла. Жирноват, конечно – свининка, ну какой был. Ничего, правда? Юрочка придет, а у нас все готово. Все на тарелочке». Обилие уменьшительных суффиксов угнетало. Все Элины попытки как-то втиснуться в Галино «Мы» пресекались:

– Ну что ты, Элечка. Мне не трудно. Я быстренько. Ты книжечку почитай. Что у тебя там? «Улитка на склоне»? Хорошая книжечка. Нет, я не читала. Слышала. На работе рассказывали.

Толстая Галя крутилась на кухне между плитой, столом и сидящей на диванчике Элей и жужжала, как весенний шмель. На самом деле уйти и почитать «книжечку» было никак нельзя. Нужно было присутствовать, слушать и отвечать, рассказывать что-то. Галя пыталась дружить.

И еще она всячески подчеркивала, что теперь это Элин дом, что здесь живет семья – Эля и Юра, а она, Галя, живет с ними. За компанию что ли? Галя старалась занимать меньше места, она как-то ужалась в попытке стать максимально незаметной. «Нет, нет, вы смотрите телевизор, а я тут журнальчик почитаю, чайку попыю. На кухне... Элечка, тебе ванна сейчас нужна? Да-да, конечно, занимай, я потом постираю... Вот на плечики плащ повесь, а я куртку свою – на крючок, она старенькая, ей все равно, а плащ вытянется... Ты завтракай, завтракай, Элечка, я тебе мешать не буду, я уже, считай, на работу убежала, ты колбаску в холодильнике возьми, там кусочек маленький остался».

А тут еще Эля ухитрилась забеременеть. Вроде прямо с первой брачной ночи. И сначала все ничего, а с четвертой недели стал ее крутить токсикоз. Классика жанра: тошнيلовка по утрам, невозможность всосать в себя хоть что-то, любой кусок тут же наружу просится. Девке в институт пора выходить, лето закончилось, а она утро с унитазом в обнимку встречает, зеленой физиономией отсвечивает. И вот тут Галя развернулась вовсю. Даже отгулы взяла, чтоб невестку без присмотра не оставлять. Что она рассыплется что ли? Загнется одна дома? От раннего токсикоза вроде не помирают.

– Лежи, лежи, Элечка. Может тебе чайку заварить? Сладенького? Не хочешь? А молочка?

От одно слова «молочко» Элю выворачивало. Она бежала к своему белому другу, а Галя, скрытая за картонной дверью, продолжала вливать ей в уши сладкий кисель:

– Вот сейчас желудочек прочистится и можно будет покушать. Я тебе кашку овсяную сварю. Жиденькую. От нее одна польза. И тебе, и ребеночку. Вот я когда Юрочку носила...

Через неделю Эля знала о Галиной беременности все. Можно сказать, что она прослушала курс «Беременность: полный набор глупостей, несчастий и суеверий». Она лежала, заботливо укрытая пледом. Рядом на табуретке стояла тарелка с чем-нибудь съестным: кашей, порезанным на кубики яблоком, бутербродом с сыром. На уголке помещалась Галя. Улыбаясь, она рассказывала очередную притчу о своей полной незабываемых впечатлений беременности.

Как их послали в колхоз на картошку, и отговориться было никак нельзя. И там на борозде ей стало плохо, и все перепугались, и повезли ее на тракторе в амбулаторию. И слава богу, там был понимающий фельдшер, он наорал на несчастного тракториста, потому что нельзя беременную бабу по кочкам трясти, вызвал скорую, и Галю отвезли в больницу.

А еще с животом на носу, на седьмом месяце она решила сделать ремонт в комнате. Она тогда еще в общежитии жила, и ей дали отдельную комнату, потому что она – мать-одиночка. Самую затрапезную комнату выделили, обшарпанную. И как же без ремонта, что ж ей с ребенком посреди драных обоев, потрескавшегося потолка и облезлого пола жить? И она полезла на потолок, белить. С пылесосом по стремянке. Была такая технология волшебная, надо к зад-

нему отверстию пылесоса, откуда воздух выдувается, шланг присоединить, а к шлангу банку с белилами и специальной крышкой, такие на рынке в маленьком хозяйственном магазинчике продавали. И там, под потолком, у Гали голова закружилась, и пылесос, банка, краска, все полетело вниз. И как она сама вслед не сверзилась – непонятно. Вцепилась руками в лесенку и зажмурилась. На грохот завхоз прибежал и, покрыв идиотку несчастную матом в три слоя, спустил ее на руках из поднебесья. И ремонт пообещал сделать в три дня. Сделал, не обманул.

Все кругом говорили, что Галя девочку родит. По всем приметам девочка должна быть. И Галя верила, вязала розовые пинетки и кофточки, ползуночки-распашоночки купила соответствующие, одеялко и ленточку для роддома. Так что Юрку вынесли в мир в девчачьем прикиде, с розовой ленточкой на пузе. И встречавшие подружки, а больше встречать ее на роддомовском крыльце было некому, поздравили Галю с дочкой. И первое время щеголял Юрка в розовом, пока не перерос свои одежки. И каждый раз на осмотре в поликлинике врачах говорила: «Какая у вас девочка хорошая, крупная», и каждый раз удивлялась, когда Галя раздевала свою «девочку», никак запомнить не могла, что у Вихровой мальчик.

Когда с работы, наконец, возвращался Юрка, Эля выползала из осточертевшего уюта, требовала прогулки. И после ужина Юрка ее выгуливал. Она висела у него на руке и поскуливала:

– Юрочка, я так не могу. Я в развалину превращаюсь. Целый день валяюсь. Растолстела как квашня. Она меня никуда не пускает, делать ничего не дает. Будто я не беременная, а смертельно-больная. Мне, и впрямь, кажется, я скоро сдохну. Ноги, вон, не держат. Ну скажи ты ей... Меня она не слушает...

Но разговоры не помогали. Галя вцепилась прочно. Когда же, несмотря, а может именно из-за бесконечного лежания у Эли началось кровотечение, и скорая увезла ее в больницу на сохранение, заботливость свекрови достигла апогея. По ее настоянию Эля оформила академику. «Ничего, институт подождет, главное для нас – родить здорового ребеночка». Можно подумывать, она вместе с Элей рожать собирается. Днем Эля, оставленная лежать дома, старалась втихаря сбегать на улицу. Там догорал октябрь. Клены сыпали под ноги пламенеющие листья. Они шептались, слетая вниз, словно прощались друг с другом. Идти по газону, загребая ногами, как в детстве. Вдыхать хрусткий ломкий холод. Кутаться до самого носа в пушистый, рыжий, как сама осень, шарф. Наслаждение! Но кто-то увидел ее, гуляющую в скверике, и Галя узнала об этом. Конечно, она не ругалась, боже упаси. Но она страдала. От Элиной неразумности. И пыталась наставить ее на путь истинный. Не переставая ласково улыбаться, она рассказывала Эле всякие ужасы. Как одна знакомая, будучи в положении, упала на улице, и у нее случился выкидыш. А другая знакомая вообще попала под машину, потому что слишком медленно переходила дорогу. Сама-то она выжила, а вот ребенок погиб. Еще кого-то толкнули в очереди, и все закончилось плачевно. Кому-то просто стало плохо, а скорая опоздала. Мир вокруг Эли наполнился несчастными женщинами, непрерывно терявшими своих нерожденных детей только потому, что вышли на улицу. Слушать страшилки Эля не могла. И смотреть, как Галя страдает, тоже.

Она взбунтовалась.

– Юра, еще немного и я лопну. Меня просто разорвет от три тысячи первой рассказы. Я не могу в этом находиться. Не могу чувствовать себя беспомощной мухой, спеленутой по рукам и ногам заботами твоей мамы. И быть бесконечно обязанной ей тоже не могу. Я понимаю, что она хочет, как лучше. Старается. Все для нас... Для меня... Но мне этого не надо. Мы должны съехать.

– Куда? Элюнь, куда мы съедем? На одну мою зарплату мы комнату не снимем, а уж тем более квартиру. А твоя мать денег нам не даст, ты сама говорила. Да и не дело с тещи деньги на квартиру брать. Что я – не мужик?

– Ну давай к моим переедем. Мама согласна. Она нам свою комнату отдаст. Сама с Ленкой к бабушке переселится. Папа уехал. Что мы впятером не поместимся в двухкомнатной? Вшестером, то есть.

– Нет. К вам мы не поедем.

– Нет?

– Нет.

Это был не первый разговор на тему «Давай переедем», не второй, и даже не пятый. Она долбила в одну точку почти каждый день. Но Юрка уперся. Эля не понимала, почему. Ну нет, так нет. А с нее хватит.

– Точно нет?

– Нет, – он был тверд.

Она поджала губы:

– Ну как знаешь. Тогда я уезжаю одна.

Он решил – Элька пошутила. Рассмеялся. Куда она одна поедет? С чего? Разве они плохо живут? Может ругаются? Может она его не любит? Ничего подобного. Прекрасно ладят. Она ласковая всегда. Все хорошо у них. Просто шутит. Или капризничает. Беременным положено капризничать. У них это... как его... мать говорила... а, вот – у них гормональный фон скачет, неправильно работает, вот они и мечутся, то одно им надо, то другое. С этим надо смириться, перетерпеть. Это пройдет. Как и толщища накопленная, некрасивость, отечность, одышка. Все пройдет, и будет его Элюня опять красавицей. Он подождет. У них будет сын. Или дочь. Дочь тоже хорошо. Настоящая семья. Его, Юркина, семья. Он, Элька, ребенок. И мама.

Он смотрит на свою жену. Она идет рядом. Хмурится. Отворачивается. Некрасивая. Толстая. В шарф кутается. Мерзнет, наверное. Больше всего похожа она сейчас на обмотанную платком квашню, кадку с тестом. Давным-давно, маленьким еще, был с матерью в деревне у каких-то дальних родственников. Запомнил только мутное окно, огромного петуха за этим окном на дворе, теплый бок печки и эту бормотающую что-то свое, неразборчивое, кадку. Петуха и квашни он боялся. Петуха, потому что ну как склонет, а эту, обмотанную тряпьем, рассевшуюся на лавке у печки, потому что не мог понять. Пытался расслышать ее косноязычную речь и не мог. А ведь это она ему, Юрке, пыталась сказать что-то очень важное. Может помощи просила? Тяжело ей было тут в спертom сумраке избы, на волю хотелось, на двор, к петуху. Не зная, как ей помочь, он плакал от собственного бессилия и прятался в угол подальше, чтобы квашня не видела его и бормотание свое жалостное обратила на кого-нибудь другого.

Он чувствовал, или думал, что чувствует, как внутри его жены поднимается опарой, растет, разворачивается потихоньку новая жизнь, как она, эта жизнь, тянет из Эльки соки, выстраивает сама себя по кирпичику. И Элька стонет и бормочет бессильно, как та кадка из его детства. Ей тоже тяжело и душно, и хочется на простор. И опять он, Юрка никак не может ей помочь. И хочется ему, как в детстве, забиться в дальний угол и поплакать там.

Нельзя.

Надо успокаивать, заговаривать, обещать будущее счастье, золотое-серебряное, бубенцами звенящее. Будущее. Потом. Не сейчас. А сейчас пока так. Потерпим. Потерпим, правда, Элюня?

Но Эля больше терпеть не собиралась. Уйти, вырваться из давящих объятий Галиной заботливости – стало для нее навязчивой идеей. Бежать. Спасаться. Иначе задохнется.

– Я уезжаю.

Он как почувствовал что-то: отпросился с обеда, пришел домой. Жена собирала чемодан. Желтокожий бегемот, распахнув пасть, лежал на их кровати, жадно заглатывал Элькины платья и кофточки.

– Ты что?

Он, как вошел, так и стоял, опираясь о косяк, в куртке и ботинках. Как она может? Бросает его? Уходит?

– Уходишь от меня?

– Нет, Юрочка. Я ухожу от твоей матери. Довольно с меня.

– А я?

– А ты большой мальчик, сам решаешь, где ты. И вроде ты все уже решил. Сам.

Она захлопнула чемодан, стянула его с кровати и потащила по полу в прихожую. Он посторонился:

– Надорвешься.

– Ничего, я не такая рохля беспомощная, как вы с Галей решили. Я сама справлюсь.

Щелкнул дверной замок. Чемодан прогрохотал по ступенькам. Со двора пробибикала машина. Юрка прошел на кухню, выглянул из-за тюлевой занавесочки. У подъезда остановилось такси. Элька вышла. Кряжистый мужик подхватил ее чемодан, лихо забросил в багажник, открыл пассажирскую дверь. Элька уселась. Такси газануло. Все.

Его жена ушла.

Как был, не раздеваясь, он лег на кровать. Покрывало едва уловимо пахло Элькой. Он закрыл глаза. Так чувствовалось сильнее. И видно было лучше. Перед ним плавало Элькино лицо, сердито нахмуренные брови, надутые губы. Но не такое отекавшее и расплывшееся, каким оно было сейчас. Четкое, не тронутое, не испорченное беременностью. «Ты все решил сам», – звучало в ушах. Вдруг Элькино лицо стало рябить мелкой волной, двоиться. Сквозь него проглядывало второе, почти такое же. Тоже нахмуренное. И голос тоже двоился: «Сама разберись».

Это Ленка. Тогда, давно, в конце десятого класса. Залетела от него. Прибежала. Глаза испуганные. На бледном, аж голубоватом лице одни глаза-блюдца. Черными омутами. Того и гляди, провалишься по макушку, утонешь. А он ей: «Ты сама все решила». Перетрусил, аж поджилки затряслись. В армию очень хотел. Чтоб настоящим мужиком стать. Думал, может на сверхсрочную останется, дальше в училище, потом офицером. Трус, какой из тебя офицер. Первую же ответственность, что в жизни подвернулась, на девчачьи плечи свалил. На Ленкины. А сам зайцем в кусты. А ведь любил ее. Больше, чем жену свою теперь, больше чем Эльку. Самому себе в этом не признавался. От самого себя прятался. Под кустом. Под лавкой. Как от той кадки с опарой.

Ленка его не простила. Ни на одно письмо не ответила. И он смирился. Значит так тому и быть. А Элька его ждала, писала, грела ему душу. Она всегда была мягче, теплее сестры, уютнее. Вот он и утешился. И вдруг сквозь ту теплую нежность, к которой он уже привык, как нож, с треском режущий шелк, прорвалось жесткое: «Ухожу».

Всего-то и просила, переехать. Не понимала, почему он не соглашается. Ведь, там у них две комнаты, квартира просторней, санузел отдельный. А они втроем ютятся в однокомнатной, мать на кухне спит. А ребенок родится, куда его? Чтобы кроватку поставить, придется стол из комнаты убирать. А пеленать где? А мыть как? Уговаривала его, он – ни в какую.

Юрка даже представить не мог, не хотел, что будет жить с Ленкой под одной крышей. Боялся. Опять ты боишься! Трус, трус! Видеть ее каждый день. Ее – чужую. И любить при этом Эльку. Не получалось. Невозможно. И объяснить это жене невозможно. Она и не знает про ту историю ничего. Все скрыто, спрятано, похоронено. Никто не знает. Даже он сам не знает, чем дело закончилось. Не спрашивал. Как про такое спрашивать? Но не родился же никто. Значит, аборт. Наверное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.